



Филип Рот    ЗАГОВОР  
ПРОТИВ  
АМЕРИКИ



проза еврейской жизни

Проза еврейской жизни

Филип Рот

# Заговор против Америки

Издательский дом «Книжники»

2004

УДК 821.11.73  
ББК 84(7Сое)

**Рот Ф.**

Заговор против Америки / Ф. Рот — Издательский дом  
«Книжники», 2004 — (Проза еврейской жизни)

ISBN 978-5-906999-74-0

В 1940 году президентом США вместо Рузвельта становится герой авиации Чарльз Линдберг. Придя к власти, он обвиняет евреев в том, что они подталкивают страну к войне с Германией; его задача как нового президента — достичь взаимопонимания с нацистами. Риббентропа принимают в Белом доме, по всем штатам звучат поддерживаемые правительством призывы поставить «чужаков» на место, и для евреев Америки наступают нелегкие времена. Страх охватывает еврейские семьи, в том числе и семейство Ротов. Исторические декорации романа классика американской литературы XX века Филипа Рота — альтернативная история времен Второй мировой войны, один из бестселлеров автора, по которому в 2020 году был снят сериал.

УДК 821.11.73

ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-906999-74-0

© Рот Ф., 2004

© Издательский дом  
«Книжники», 2004

## Содержание

1. Голосуй за Линдберга или за войну	6
2. Еврейский болтун	31
3. Шпионя за христианами	55
Конец ознакомительного фрагмента.	63

**Филип Рот**  
**Заговор против Америки**  
*Посвящается С.Ф.Р.*

# 1. Голосуй за Линдберга или за войну

*Июнь 1940 – октябрь 1940*

Мои воспоминания о тех днях полны страха, неизбывного страха. Разумеется, у каждого мальчика свои кошмары, но вряд ли я вырос бы таким паникером, не будь тогда президентом Линдберг и сам я не происходи из еврейской семьи.

Первым шоком стало известие о выдвижении кандидатом в президенты от Республиканской партии знаменитого на весь мир летчика Чарлза Э. Линдберга. Произошло это в июне 1940-го на съезде республиканцев в Филадельфии – моему отцу стукнуло тридцать девять; страховой агент без высшего образования, он зарабатывал чуть меньше пятидесяти долларов в неделю – как раз на то, чтобы вовремя погасить основные счета, плюс самая малость сверху. Моей матери – которой когда-то хотелось стать учительницей, но не нашлось денег на колледж, и поэтому по окончании школы она, живя у родителей, устроилась секретаршей в какую-то контору, – а затем, уже выйдя замуж и родив двух сыновей, на протяжении всех лет Великой депрессии не давала нам скатиться в нищету или просто почувствовать себя бедняками, для чего ей приходилось растягивать отцовскую пятничную получку на всю неделю и вести хозяйство, экономя на любой мелочи, – моей матери было тридцать шесть. Моему брату Сэнди – ученику седьмого класса, успевшему проявить выдающиеся способности к рисованию, – исполнилось двенадцать, а мне – третьекласске, пошедшему в школу на полгода раньше положенного, и начинающему филателисту, вдохновленному, как и миллионы детей по всей стране, примером прославленного коллекционера марок президента Рузвельта, – было семь.

Мы жили на втором этаже маленького – на две семьи с холостячкой мансардой – деревянного дома с кирпичным крыльцом под двускатным навесом, к этому прилагался крошечный дворик с живой изгородью из невысоких кустов. Вся улица, которую можно назвать и бульваром, была застроена точно такими же домиками. Здесь, на юго-западной окраине Нью-арка, строиться начали сразу после первой мировой (раньше тут были сельскохозяйственные угодья) – и, опьяненные ее победоносным окончанием, называли с полдюжины улиц именами американских флотоводцев времен войны с Испанией, а местный кинотеатр окрестили «Рузвельтом» в честь шестияродного брата ФДР<sup>1</sup> и, не в последнюю очередь, двадцать шестого президента США. Наша улица – Саммит-авеню – находилась на вершине холма, хотя какие уж холмы в портовом городе: максимум сотня футов над уровнем моря – то есть соленого прибоя, набегающего на берег с севера и востока, и глубоководной бухты еще восточнее, возле аэропорта, которая откомандировывает свои воды – и нефтеналивные суда на их поверхности – в сторону Нью-Йоркской бухты (для чего им приходится обогнуть полуостров Байонн), где они, отсалютовав Статуе Свободы, выходят на стартовую черту перед отправлением в Атлантический океан. Поглядев на запад из дальнего окна нашей комнаты, порой, в хорошую погоду, можно было угадать темные очертания лесистых Уотчунгс – невысокой горной гряды с расположенными по склонам и возле них большими усадьбами и богатыми немногочисленными пригородными поселками. Здесь – милях так в восьми от родного дома – для нас проходил край Ойкумены. К югу был расположен фабричный городок Хиллсайд по преимуществу с белым нееврейским населением. Хиллсайд, однако, входил в округ Юнион, штат Нью-Джерси, – и это и впрямь был совершенно другой Нью-Джерси.

В 1940-м мы считали себя счастливой семьей. Мои родители были весьма общительными людьми, заводя знакомства, перерастающие в дружбу домами, среди коллег и сослуживцев отца и товаров матери по родительскому комитету заново отстроенной школы на Ченселлор-авеню,

---

<sup>1</sup> Здесь и далее: Франклин Делано Рузвельт.

в которую мы с братом ходили. Все они были евреями. Наши соседи или вели собственный бизнес, владея бакалеей, зеленой лавкой, а то и ювелирным магазинчиком, конфекционным, мебельным магазином, заправкой или «Деликатесами» в нашем районе, или держали небольшие магазины инструментов и товаров промышленного назначения вдоль железнодорожной ветки Ньюарк – Ирвингтон, или, работая на свой страх и риск, занимались нехитрым ремеслом слесаря, электрика, маляра, котельщика, – или, наконец, подобно моему отцу, были, так сказать, пехотой большого бизнеса, то есть ежедневно отправлялись в путь по улицам города на своих двоих и, постучавшись в дверь, в самом выигрышном свете расписывали предлагаемые той или иной компанией товары и услуги. Еврейские доктора, адвокаты и те предприниматели, которым принадлежали крупные магазины в центре города, жили в одноэтажных особнячках по улицам, ответвляющимся от Ченселлор-авеню на восточном склоне холма, поближе к тенистому лесопарку Виквахик площадью в триста акров – с его деревьями и полянами, с озером для катания на лодках, с лужайкой для игры в гольф, с дорожкой для рысаков, – лесопарк и отделял весь наш район от заводов и верфей, тянущихся вдоль двадцать седьмой автотрассы и насыпи Пенсильванской железной дороги на восток – и дальше, опять-таки на восток, мимо разрастающегося аэропорта, – и наконец на самый восточный край США – к докам и причалам бухты Ньюарк, куда привозят товары со всего света. В западном конце Виквахика, где мы и жили, – и рядом с лесопарком, и все же в стороне от него, – порой поселялся какой-нибудь преподаватель или фармацевт, но вообще-то людей с университетским образованием среди наших ближайших соседей не водилось, не говоря уж о том, что среди них не было владельцев и топ-менеджеров серьезных фирм. Здесь мужчины работали по пятьдесят, по шестьдесят, даже по семьдесят, а то и больше часов в неделю. Женщины же и вовсе не знали ни сна, ни отдыха: круглыми сутками хлопоча по хозяйству и почти не прибегая к помощи современной на тот момент техники, они стирали и гладили сорочки, штопали носки, подшивали воротнички, пришивали пуговицы, присыпали нафталином шерстяную одежду, обтирали мебель, подметали и мыли полы, мыли окна, раковины, ванны и унитазы, топили печки, закатывали консервы, ухаживали за больными, ходили за продуктами, готовили еду и кормили ею родных, наводили порядок в шкафах и буфетах, проверяли, не облупилась ли где-нибудь краска и не нуждается ли какая-нибудь вещь в незамедлительной починке, выкладывали своим мужчинам все необходимое для проведения религиозного ритуала, платили по счетам и держали в конторских книгах всю домашнюю бухгалтерию, одновременно и беспрестанно уделяя внимание здоровью и самочувствию собственных детей, состоянию их одежды, успехам в школе, питанию, поведению, дням рождения, дисциплине и морали. Кое-кто из них плечом к плечу с мужем работал в семейной лавке на одной из расположенных по соседству улиц, а в вечернее время и по субботам им помогали старшие дети, доставляя на дом заказы, стоя за стойкой или занимаясь уборкой.

Именно трудолюбие отличало и выделяло наших соседей куда больше, чем вероисповедание. Никто в округе не носил бороду, не одевался в подчеркнуто ветхозаветном стиле, не покрывал голову кипой ни на улице, ни в тех домах, куда я забегал в гости к сверстнику – хозяйскому сыну. Взрослые не выглядели чужаками, не говоря уж о том, что мало кому пришло бы в голову приглядеться к ним именно в этом смысле, и, не считая двух-трех старых лавочников, вроде портного или хозяина кошерной мясной, и престарелых или беспомощных дедушек и бабушек, поневоле нашедших приют под кровом у сына или дочери, никто в наших местах не говорил с еврейским акцентом. В 1940-м два поколения евреев – отцы и дети, обитающие в юго-западном углу самого большого города во всем Нью-Джерси, – говорили на американском английском скорее как англосаксы где-нибудь в Алтуне или в Бинггэмптоне, нежели как наши еврейские сородичи за Гудзоном, с нью-йоркских Пяти углов. Буквы еврейского алфавита красовались в витрине кошерной мясной и над входами в здешние крошечные синагоги, но нигде больше. Кроме, конечно, кладбища. И у тебя просто не было шансов наткнуться на них – ото-

всюду глазели буквы латинского алфавита, и говорили все по-английски как на повседневные темы, так и на выпренно-возвышенные. В газетном киоске у входа в бакалею на каждого покупателя «Форвертс» – ежедневной газеты на языке идиш – приходилось по десять покупателей «Рэйсинг-форм».

Израиля еще не существовало, шесть миллионов европейских евреев еще не были уничтожены, и точное местоположение находящейся явно за тридевять *земель* Палестины (после разгрома союзниками в 1918-м Оттоманской империи ее ближневосточные колонии подпали под британский мандат) было для меня тайной. Когда – примерно раз в пару месяцев и непременно вечером – к нам в дом стучался бородатый чужак, к темени которого словно навеки приклеилась кипа, и на ломаном английском просил денег в пользу еврейского национального очага, ныне возрождаемого в Палестине, я, вовсе не будучи таким уж несмышленьким, просто не понимал, чего ему от нас надо. Отец с матерью давали мне или Сэнди несколько монет, чтобы мы опустили их в кружку для пожертвований, – но поступали они так скорее по доброте душевной и чтобы не обидеть отказом старого человека, думал я, которому год от году все труднее взять в толк, что уже три поколения нашей семьи живут здесь и считают Америку своей родиной. Каждое утро в школе я салютовал американскому флагу. Вместе с одноклассниками я разучивал песни о том, какая у нас замечательная страна. Я чтил все национальные праздники и обычаи – фейерверк в День независимости, индюшка в День благодарения, два матча один за другим в День поминовения. Америка была моей родиной.

А потом республиканцы выдвинули Линдберга – и все изменилось.

На протяжении целого десятилетия Линдберга в нашей округе, как и везде, считали героем. Его тридцатитрехполовиночасовой беспосадочный перелет в одиночку с Лонг-Айленда в Париж на борту крошечного моноплана «Дух Сент-Луиса», вдобавок ко всему, произошед в тот же весенний день 1927 года, когда моя мать поняла, что беременна моим старшим братом. В результате чего молодой авиатор, подвиг которого потряс Америку и весь мир и послужил залогом невообразимо великого будущего для всего воздухоплавания, вошел, заняв особое место, в пантеон семейных преданий, из которого каждый ребенок складывает свою связную мифологию. Загадка беременности и героизм Линдберга соединились и срифмовались в сознании таким образом, что отблеск некоей божественности упал и на мою собственную мать, раз уж зачатие ею первого сына оказалось проманифестировано событием столь все-ленского значения. Позже Сэнди запечатлеет это совпадение на рисунке, посвященном обоим историям сразу. На этом рисунке, сделанном в девятилетнем возрасте с размахистой приближительностью советских плакатов, Сэнди нарисовал мать вдали от дома, в ликующей толпе на углу Брод и Маркет-стрит. Стройная темноволосая женщина двадцати трех лет с улыбкой до ушей, она словно ничего не видит вокруг, стоя в своем цветастом кухонном фартуке на перекрестке двух улиц с самым оживленным движением во всем городе, и прикладывает одну руку к фартуку на животе, еще, конечно, ни в коей мере не выпирающему, тогда как другой рукой она – одна-единственная во всей толпе – указывает в небо на «Дух Сент-Луиса», проплывающий над Ньюарком как раз в тот миг, когда она понимает, что ей уготован триумф ничуть не меньший, чем Линдбергу, пусть и будет он заключаться не в беспосадочном перелете, а в рождении Сэнфорда Рота.

Сэнди было четыре, а я, Филип, еще не появился на свет, когда, в марте 1932-го, у Чарльза Линдберга и его жены Энн Морроу похитили их собственного первенца, рождение которого за двадцать месяцев до этого стало в США поводом для всенародного ликования. Мальчика похитили из их нового дома, уединенно высящегося в сельской местности под Хоупвэллом, штат Нью-Джерси. Примерно через десять недель разложившееся тело младенца было случайно обнаружено в лесу на расстоянии в пару миль от особняка Линдбергов. Ребенка то ли убили, то ли случайно умертвили уже после того, как вынули из кровати и прямо в пеленках вынесли во тьме из дому через окно комнаты кормилицы на втором этаже и далее – по пристав-

ной лестнице, пока сама кормилица и госпожа Линдберг занимались какими-то всегдашними вечерними хлопотами в другой части дома. Процесс по делу о похищении и убийстве ребенка, состоявшийся позднее, завершился в феврале 1935-го осуждением некоего Бруно Гауптмана – тридцатипятилетнего немца, в прошлом рецидивиста, жившего вдвоем с женой, тоже немкой, в Бронксе, – и прежние восхищение отвагой летчика, совершившего первый трансатлантический перелет, многократно усиленное всеобщим сочувствием, превратило Линдберга воистину в титана-мученика наподобие самого Линкольна.

После суда чета Линдбергов покинула США, надеясь временным пребыванием на чужбине избавиться от какой бы то ни было опасности родившегося у них меж тем второго ребенка и вместе с тем ища столь спасительного в сложившихся условиях уединения. Семья поселилась в английской деревушке, откуда Линдберг как частное лицо предпринял ряд поездок в нацистскую Германию, вследствие чего превратился для большинства американских евреев в жуткого негодяя. В ходе пяти визитов, знакомясь с величием возрождаемой в рейхе военной машины, он свел близкое знакомство с рейхсмаршалом авиации Герингом, был награжден знаками отличия самим Гитлером и публично заявил о глубочайшем почтении к фюреру, назвав Германию самой интересной в мире страной, а ее вождя – великим человеком. И такой интерес, и такое восхищение были им выказаны уже после введения Гитлером так называемых расовых законов 1935 года, лишивших немецких евреев политических, социальных и имущественных прав, аннулировав их германское гражданство и воспретив им браки с арийцами.

К тому времени как я пошел в школу, в 1938-м, имя Линдберга превратилось в нашем доме в такой же жупел, как воскресные радиопроповеди преподобного Кофлина – детройтского проповедника, издававшего экстремистски-правый еженедельник «Социальная справедливость», откровенно антисемитские высказывания которого возмущали буквально всех, кого затрагивали непосредственно, – и это в ту пору, когда стране и людям и без того приходилось нелегко. В ноябре 1938-го – самого темного и зловещего года в восемнадцативековой истории европейского еврейства – по всей Германии прокатилась волна чудовищных погромов, спровоцированных нацистами. Это была так называемая Хрустальная ночь: синагоги оскверняли и разрушали, жилые дома и предприятия, принадлежащие евреям, громили; и, превратив эту ночь в предзнаменование немислимого и невозможного будущего, евреев тысячами изгоняли из своих домов и заключали в концентрационные лагеря. Но когда Линдбергу подсказали, что с оглядкой на столь беспрецедентную жестокость по отношению к жителям собственной страны, проявленную нацистами, ему следовало бы вернуть маршалу Герингу золотой крест, украшенный четырьмя свастиками, он отказался, сославшись на то, что публичный отказ от почетного ордена Германского орла «без особой на то надобности» оскорбил бы нацистское руководство.

Линдберг оказался первой из здравствующих американских знаменитостей, кого я научился ненавидеть, точь-в-точь как Рузвельт был первой знаменитостью, кого я научился любить, – и таким образом его выдвижение в кандидаты от республиканцев и предстоящий на выборах-1940 поединок с Рузвельтом оказались вдвойне окрашены для меня в личные тона: американский сын американских родителей, учащийся в американской школе в одном из городов Америки, я впервые понял – все, что я до сих пор воспринимал как данность, оказалось под сомнением и под угрозой.

Единственная сопоставимая угроза возникла где-то тринадцатью месяцами ранее, когда с учетом неизменно высоких продаж в худшие годы Великой депрессии моему отцу, работающему рядовым агентом в ньюаркском отделе «Метрополитен лайф», была предложена должность младшего менеджера по персоналу в городке Юнион, в шести милях к западу от нашего дома. О городке этом мне было известно лишь то, что там имеется автомобильный кинотеатр под навесом, где крутят фильмы даже под проливным дождем. В компании отца поставили в известность, что, приняв эту должность, ему надлежит вместе с семьей перебраться в Юнион. В качестве младшего менеджера отец должен был зарабатывать чуть ли не по семье-

сят пять долларов в неделю, а во вполне обозримом будущем – и все сто; в 1939 году людям с нашими ожиданиями такие деньги казались просто сумасшедшими. А поскольку в силу Великой депрессии односемейные дома в Юнионе продавались по демпинговым ценам всего в пару тысяч долларов, отец мог рассчитывать на реализацию заветной мечты человека, выросшего в бедной семье на съемной квартире в Ньюарке, – стать настоящим американским домовладельцем. «Гордость собственника» – таково было его любимое выражение, передающее идею, конкретную, как хлеб для кормильца семьи, одержимого не стремлением к карьере или тягой к роскоши, а элементарной добычей насущно необходимого.

Однако же побочным обстоятельством, с которым приходилось считаться, был тот факт, что в фабричном городке Юнионе, как и в Хиллсайде, жили белые неевреи, и, соответственно, отец почти наверняка оказался бы единственным евреем в конторе, в которой работают тридцать пять человек, мать – единственной еврейской домохозяйкой на всей улице, а мы с Сэнди – единственными еврейскими учениками в школе.

В ближайшую субботу, после того как отец получил столь лестное предложение, означающее прежде всего воплощение общесемейной сквозь годы Великой депрессии мечты о мало-мальской финансовой безопасности, – мы вчетвером после ланча отправились на разведку в Юнион. Но едва мы очутились там и принялись разъезжать по широким улицам, застроенным двухэтажными домами, – не одинаковыми, отнюдь не похожими друг на друга, как капли воды, но тем не менее с каменным крыльцом под навесом, с подстриженным газоном, с обсаженной кустами аллеей и гаражной подъездной дорожкой к гаражу на одну машину каждый; крайне скромные строения, но все равно не чета нашей съемной квартире в доме на две семьи и куда больше смахивающие на белые домики из кинофильмов, воспевающих одноэтажную Америку, – едва мы очутились там, наше невинное желание влиться всей семьей в класс домовладельцев оказалось омрачено (что, впрочем, было в достаточной мере предсказуемо) мыслью о лимитах нееврейского (оно же христианское) милосердия. Моя неизменно бодрая мать ответила на вопрос мужа «Ну что, Бесс, как тебе тут?» со столь наигранным энтузиазмом, что даже мне, ребенку, было ясно, что она кривит душой. И во всей своей тогдашней малости я понимал почему. Наверняка она подумала, что наш дом все будут называть еврейским. И повторится та же история, что и в Элизабет.

Элизабет, штат Нью-Джерси, где мать выросла, проживая на втором этаже дома, в котором ее отец держал зеленую лавку, был промышленно-портовым городом примерно вчетверо меньше Ньюарка, населенным в основном ирландцами, – ирландские рабочие и докеры, ирландские политиканы, по-ирландски интенсивная религиозная жизнь, вертящаяся вокруг довольно многочисленных католических церквей, – и хотя я никогда не слышал, чтобы она жаловалась на то, что ее в детстве и юности как-то травили, ей понадобилось выйти замуж и переехать в Ньюарк, попав тем самым в чисто еврейское окружение, чтобы обрести уверенность, достаточную для успешной карьеры в рамках родительского совета – сперва член бюро, потом вице-председатель, курирующий учреждение родительского совета в детском саду, и наконец – председатель. А став председателем совета и побывав в Трентоне на конференции по детскому церебральному параличу, мать предложила проводить ежегодно, 30 января – в день рождения президента Рузвельта, – благотворительный марш-концерт в пользу детей-инвалидов, – и на ее инициативу откликнулось большинство школ Ньюарка. Весной 1939-го она уже второй год успешно председательствовала в совете, будучи одержима прогрессивными идеями и неизменно поддерживая молодых учителей Ченселлора, когда тем хотелось ввести новые методики вроде «визуального образования», – и теперь ей, разумеется, было жаль отказываться от всего, чем она была вправе гордиться как личными достижениями в роли жены и матери на Саммит-авеню. А если нам удастся купить дом здесь и перебраться в Юнион, представший сейчас перед нами в вешнем великолепии, не только ее собственный статус неизбежно сдуется и она вновь превратится в дочь еврейского зеленщика в католически-ирландском Элизабет, но

и, хуже того, нам с Сэнди предстоит пройти через те же испытания, которые выпали в юности на ее долю.

Игнорируя тайное недовольство жены, отец делал все, чтобы воодушевить нас; он нахваливал чистоту и ухоженность здешних улиц, напоминал сыновьям о том, что, поселившись в одном из таких домов, каждый из них получит свою комнату с личным клозетом, растолковывал преимущества выплаты по кредиту перед взносом квартплаты, – и прервал этот импровизированный урок азов политэкономии только затем, чтобы, затормозив на красный свет, остановиться возле летнего кафе в конце квартала. Под сенью деревьев, листва которых уже всю зеленела, были расставлены зеленые раскладные столики, и в солнечное субботнее предвечерье официанты в накрахмаленных белых сорочках сновали туда и сюда, удерживая на весу подносы с бутылками, кружками и тарелками, тогда как посетители – сплошь мужчины – и стар и млад, расположившись за столиками, курили сигареты, сигары и трубки и потягивали свои напитки из высоких бокалов и глиняных кружек. Звучала и музыка – наяривал коротышка-аккордеонист в бриджах и в гетрах и со здоровенным пером на шляпе.

– Сукины дети, – неожиданно выругался отец. – Нацистские ублюдки! – И тут зажегся зеленый, и мы поехали дальше – полюбоваться на здание конторы, в которой ему предоставляли шанс преодолеть собственный предел в пятьдесят долларов в неделю.

Брат, когда мы вернулись и уже отходили ко сну, объяснил мне, из-за чего отец вышел из себя настолько, что не постеснялся выругаться в присутствии собственных детей. Оказывается, развеселое летнее кафе в центре города называлось, на немецкий лад, «Биргартеном», «Биргартен» был как-то связан с Обществом немецко-американской дружбы, Общество, в свою очередь, было связано с Гитлером, а Гитлер – и это объяснять мне уже не требовалось – был неразрывно связан с гонениями на евреев.

Наслаждение антисемитизмом – вот что происходит в этой пивной. Я представил, что все на свете нацисты целыми днями вливают в себя жидкий антисемитизм кружка за кружкой как панацею, как целебный бальзам, как средство от всех напастей.

Отцу пришлось взять отгул, чтобы съездить в Нью-Йорк, в головной офис фирмы, расположенный в небоскребе, верхнюю башню которого венчает огненный транспарант «Неугасимый свет», и сообщить начальству, что он отказывается от повышения, к которому долго и страстно стремился.

– Это моя вина, – сказала мать, когда он за обеденным столом поведал ей о разговоре, состоявшемся на восемнадцатом этаже дома номер один по Мэдисон-авеню.

– Ничья это не вина, – возразил отец. – Я ведь заранее сообщил тебе, что я собираюсь сказать ему, и сделал все точь-в-точь как спланировал. Парни, мы никуда не едем. Мы остаемся здесь.

– А он что? – спросила мать.

– Он меня выслушал.

– А потом?

– Встал и пожал мне руку.

– И ничего не сказал?

– Он сказал: «Желаю удачи, Рот!»

– Он на тебя рассердился.

– Хэтчер – джентльмен старой школы. Здоровенный гой шести футов росту. Выглядит как киноактер. Ему шестьдесят, а он в отличной форме. Вот такие ребята и правят миром, Бесс, – у них нет времени сердиться на такого, как я.

– Ну и что теперь? – спросила она, явно подразумевая, что ничего хорошего отцовский разговор с Хэтчером не сулит, а может обернуться и чем-нибудь скверным. И я, как мне кажется, вполне ее понял. «Никогда не отказывайся от работы – и ты с ней непременно справишься», – под таким девизом воспитывали нас и отец, и мать. Даже за обеденным столом отец

не гнушался всегдашними назиданиями: «Если тебе предложат работу, соглашайся. Спросят: “Справишься?” Отвечай: “Конечно!” А к тому времени, как они сообразят, что ты ничего не умеешь, ты уже кое-чему научишься и работа останется за тобой по праву. И, как знать, не поймаешь ли ты тем самым удачу за хвост!» Но в Нью-Йорке он сам повел себя совершенно по-другому.

– А что скажет Босс? – спросила мать. Боссом мы четверо называли отцовского непосредственного начальника из Ньюарка Сэма Петерфройнда. В те дни неафишируемого антисемитизма, когда еврейскую квоту в колледжах и профессиональных училищах стремились свести к минимуму, в больших корпорациях имела место беспримерная дискриминация и, вдобавок ко всему, евреям было заказано членство в тысячах общественных организаций и институтов муниципального самоуправления, Петерфройнд оказался одним из первых – и весьма немногочисленных – евреев, кому удалось дослужиться в «Метрополитен лайф» до должности руководителя филиала. – Ведь он порекомендовал тебя на эту должность. И каково же будет ему сейчас?

– А знаешь, что он мне сказал, когда я вернулся? Что он мне сказал насчет юнионской конторы? Что там все пьяницы. И что об этом все знают. Он не сказал мне об этом, чтобы у меня не было предубеждений относительно предложения. Так вот, агенты там работают с утра часа два, а остальное время болтаются в забегаловках, если не в притонах. И меня туда собирались отправить новым начальником – еврея, – большой шишкой, на которого эти гои только и мечтали работать. Чтобы я их разыскивал по кабакам, чтобы напоминал им об их обязанностях, об их ответственности за своих жен и детей. Ох и полюбили бы они меня за это! И как бы про себя называли! Нет, уж лучше я останусь на прежнем месте. Для всех так будет лучше.

– А что если компания уволит тебя из-за того, что ты отказался от повышения?

– Милая, дело сделано, и хватит об этом.

Но она не поверила, что Босс сказал именно так. Она решила, что все это выдуманно, чтобы она успокоилась и не казнила себя за отказ переехать с детьми в город иноверцев, в город, где процветает Общество немецко-американской дружбы, и тем самым только она виновата в том, что отец упустил, может быть, единственный шанс подняться по службе.

Линдберги вернулись в Америку в апреле 1939 года. И всего через несколько месяцев, в сентябре, Гитлер, уже аннексировавший Австрию и захвативший Чехословакию, вторгся в Польшу – и захватил ее тоже, тогда как Франция и Великобритания в ответ на это объявили Германии войну. Линдберг к этому времени вернулся на воинскую службу в чине полковника американских ВВС и принял, с согласия правительства США, разъезжать по стране, агитируя за дальнейшее развитие авиации и в особенности – за расширение и модернизацию ВВС в рамках общих задач, стоящих перед вооруженными силами страны. Когда Гитлер стремительно оккупировал одну за другой Данию, Норвегию, Голландию и Бельгию и практически разбил Францию, и вторая великая европейская война двадцатого века уже шла полным ходом, полковник ВВС превратился в кумира изоляционистов – и во врага Франклина Делано Рузвельта, – добавив к своей всегдашней пропаганде призывы не дать втянуть Америку в сугубо европейскую войну и ни в коем случае (и ни в какой форме) не подать руку помощи французам и англичанам. Они с Рузвельтом уже давно недолюбливали друг друга, но теперь, когда полковник и герой на митингах, в радиопередачах и на страницах популярных журналов принялся открыто говорить о том, что президент обманывает страну, вслух обещая мир, а исподволь готовя вовлечение США в вооруженную борьбу, кое-кто из нерядовых республиканцев увидел в Линдберге харизматика, способного лишить «белодомовского поджигателя войны» столь желанного тому третьего президентского срока.

Чем сильнее давил Рузвельт на Конгресс, с тем чтобы снять эмбарго на экспорт вооружений и ослабить доселе незыблемый нейтралитет США хотя бы в мере, способной предотвра-

тить немедленный разгром Великобритании, тем последовательней и откровенней становился Линдберг, – и вот наконец он произнес прямо транслируемую по радио и сразу же ставшую знаменитой речь перед толпой восторженных поклонников в Де-Мойне, в которой «среди наиболее важных сил, подталкивающих страну к войне», была упомянута и группа населения, насчитывающая менее трех процентов от общего числа, которую он называл попеременно то «лицами еврейской национальности», то «еврейской расой».

«Каждый, кто не лишен ума и чести», – сказал Линдберг, – «видит, что их нынешняя провоенная политика чревата серьезнейшими опасностями как для нас, так и для них самих». – И затем – с примечательной откровенностью и решительностью – добавил: «И среди лиц еврейской национальности есть крайне малочисленное меньшинство, осознающее эту опасность и противящееся нашему вмешательству. Однако подавляющее большинство думает иначе... Мы не вправе упрекать их в том, что они – в меру своего разума и убеждения – преследуют собственные интересы, но и нам самим надлежит позаботиться об интересах Америки. Мы не можем позволить естественным чувствам и предубеждениям других народов направить на путь самоуничтожения нашу страну».

Уже на следующий день все обвинения, вызвавшие такой восторг у аудитории Линдберга в штате Айова, были методично и скрупулезно опровергнуты либеральными журналистами, пресс-секретарем Рузвельта, еврейскими агентствами и общественными организациями, даже кое-кем из видных республиканцев – таких как нью-йоркский окружной прокурор Дьюи и крупный юрист Уолл-стрит Уэндел Уилки; оба последних, кстати, фигурировали в коротком списке кандидатов в президенты от Республиканской партии. А критика со стороны ряда членов демократического правительства, скажем, министра внутренних дел Гарольда Икеса, оказалась столь резкой, что Линдберг предпочел вновь подать в отставку из армии, лишь бы не находиться в прямом подчинении у президента страны. Но так называемый комитет «Америка прежде всего» – изоляционистская организация с широчайшей низовой базой – не отрекся от Линдберга, и тот так и остался самым популярным пропагандистом строжайшего нейтралитета США. Причем многие изоляционисты считали аксиомой (не могущей быть опровергнутой даже фактами) линию рассуждений Линдберга, согласно которой евреи «представляют собой величайшую опасность для нашей страны в силу владения ими (и обусловленного владением влиянием) нашим кинематографом, нашей прессой, нашим радио и нашим правительством». Когда Линдберг напыщенно писал о «нашем кровном родстве с Европой», когда предостерегал против «смешения с чуждыми расами» и против «проникновения низшей крови» (и эти, и подобные им выражения уже не были в те дни ни для кого в диковинку), он выражал свое личное мнение, находящее отклик не только у постоянно множасьихся изоляционистов, но и у того до поры до времени молчаливого большинства, подобные настроения которого евреи, вроде моего отца с его жестокой ненавистью к антисемитизму или вроде моей матери с ее глубоким недоверием к христианам, не могли предугадать даже в самых страшных снах.

В 1940-м состоялся съезд Республиканской партии, посвященный выдвижению кандидата в президенты страны. Тою ночью – 27 июня, с четверга на пятницу, – нас с братом отправили спать, а взрослые – отец с матерью и наш старший двоюродный брат Элвин – уселись в гостиной у радиоприемника, слушая прямой репортаж из Филадельфии. Шесть туров голосования не привели к избранию кандидата. Имя Линдберга произнесено еще не было, а сам он, якобы занятый конструированием нового истребителя где-то на Среднем Западе, в зале отсутствовал, и его появления не ожидалось. К тому моменту, как нам с Сэнди велели укладываться, симпатии участников съезда разделились между Дьюи, Уилки и двумя влиятельными сенаторами-республиканцами – Ванденбергом от штата Мичиган и Тафтом от штата Огайо, – и, судя по всему, закулисный торг между крупными шишками вроде бывшего президента Гувера, которого ФДР вышиб из Белого дома, оглушительно разгромив в 1932 году, или губернатора

Алфа Лэндона, потерпевшего от Рузвельта еще более бесславное – и беспрецедентное в электро-ральной истории страны – поражение четырьмя годами позже, должен был завершиться еще не скоро.

Заканчивался первый по-настоящему теплый вечер лета, окна во всей квартире были распахнуты, и мы с Сэнди, уже в постели, поневоле продолжали слушать трансляцию – и по родительскому приемнику в гостиной, и по приемнику соседей с первого этажа, и – поскольку дома на нашей улице стояли хоть и не вплитык, но между каждыми двумя можно было запарковать разве что одну машину, – по приемникам соседей справа и слева, и через дорогу. А поскольку о кондиционерах тогда слухом не слыхивали и в едва ли не тропической ночи ничто не заглушало шум, доносящийся из чужих окон, радиотрансляция со съезда в Филадельфии накрыла весь жилой массив от Кира до Ченселлора – массив, в котором на все тридцать-с-чем-то двухсемейных (с мансардой для холостяка) домиков плюс только что построенный на углу Ченселлор-авеню небольшой многоквартирный дом наверняка не приходилось ни единого республиканца. На улицах вроде нашей евреи голосовали исключительно за демократов – во всяком случае, пока во главе этой партии оставался ФДР.

Но мы с братом были детьми и вопреки всему уснули – и, разумеется, не пробудились бы до утра, не появившись неожиданно-негаданно в 3:18 утра на съезде республиканцев, намертво застрявших в патовой ситуации после уже двенадцатого тура голосования, сам Линдберг. Высокий, стройный, красивый мужчина спортивного вида и с героической биографией, которому меж тем не исполнилось и сорока, он вошел в зал в летной форме, потому что прилетел в Филадельфию за штурвалом собственного самолета всего получасом ранее, – и его появление привело республиканскую аудиторию в такой восторг, что делегаты, повскакав на ноги, принялись скандировать: «Линди! Линди! Линди!» – и затянулось это на тридцать триумфальных минут без какого бы то ни было вмешательства со стороны президиума. Весь этот пародирующий религиозную мистерию политический спектакль подстроил и разыграл как по нотам сенатор Джералд П. Най из Северной Дакоты, отличающийся крайне правыми взглядами изоляционист. И в торжественный миг он, подсутившись, предложил внести в список для голосования имя Чарлза Э. Линдберга из Литл-Фоллз, штат Миннесота, – в развитие чего два самых реакционных члена Конгресса США – Торкелсон из Монтаны и Мундт из Южной Дакоты – подтвердили номинацию, – и вот ровно в четыре утра в пятницу, 28 июня, Республиканская партия, ликуя, избрала своим кандидатом в президенты страны фанатика и изувера, который, обращаясь по радио к общенациональной аудитории, без зазрения совести называл евреев «малым народом, использующим свое огромное влияние... на горе и во погибель Америке» вместо того, чтобы смиренно признав себя незначительным и пренебрежимым меньшинством, многократно уступающим по численности христианскому населению страны, воздержаться, хотя бы в силу собственных религиозных предрассудков, от дальнейших посягательств на власть и влияние в США. Фанатика и изувера, хранящего верность идеалам американской демократии и беззаветно преданного Адольфу Гитлеру.

«Нет!» – этот возглас разбудил нас с братом. «Нет!» – во весь голос кричали мужчины во всем квартале. Такого не может быть. Нет. Только не в президенты США.

Через несколько минут мы с братом присоединились к отцу с матерью возле радиоприемника, и, конечно же, никто не прогнал нас в детскую. Стояла жара; моя мать накинула халат на тонкую ночную рубашку – она уже тоже успела поспать и была разбужена тем же шумом, что и мы оба. Сейчас она сидела на диване бок о бок с отцом, поднеся руку ко рту, словно боялась, будто ее вот-вот стошнит. А вот мой старший кузен Элвин не усидел на месте: вскочив на ноги, он принялся мерить быстрыми шагами комнату (восемнадцать футов на двенадцать), – и чувствовалось, что ему не терпится броситься в драку с кем-нибудь из незримых врагов.

Гнев этой ночью неистовствовал, как пламя в кузнице, он швырял каждого на наковальню и расплющивал, как металл. И никак не хотел улечься – ни пока Линдберг, стоя, выдерживал

новый шквал обрушившихся на него приветствий, а на сей раз его величали уже как спасителя отечества, ни когда он произнес речь, в которой принял возложенное на него товарищами по партии бремя и взял на себя тем самым мандат предотвратить втягивание США в европейскую войну. Мы все с ужасом ждали, что он не удержится от повторения своих антисемитских наветов, – и тот факт, что этого не произошло, не больно-то улучшил настроение населению нашего квартала, до последнего человека высыпавшему на улицу в пять утра. Целые семьи, членов которых я до сих пор видел исключительно в одетом виде, выскочили из дому в халатах поверх пижам и ночных рубашек, а на ногах у всех были шлепанцы. Так люди могут реагировать разве что на землетрясение. Но больше всего меня, мальчика, потряс гнев этих людей, знакомых мне прежде как балагуры и шутники или, напротив, молчаливые добытчики, весь день чинящие сантехнику, выпекающие хлеб или торгующие яблоками вразвес по фунту, с тем чтобы вечером почитать газету, послушать радио и прямо в кресле заснуть; простые люди, которым довелось оказаться евреями, неистовствовали сейчас на улице и сыпали беспочвенными и безадресными проклятиями, внезапно ввергнутые все в тот же ад, из которого, как им до сих пор казалось, их семьям удалось, эмигрировав в США, судьбоносно вырваться несколько поколений назад.

Я бы подумал, что неупоминание Линдбергом евреев представляет собой добрый знак – то ли потому, что его прошлая антисемитская выходка натолкнулась на столь ожесточенный отпор, что ему пришлось покинуть ряды действующей армии, то ли потому, что со времен речи в Де-Мойне он переменил мнение или просто-напросто забыл о нас, то ли потому, что в глубине души он прекрасно понимал: мы преданы Америке безраздельно и необратимо; в отличие от каких-нибудь ирландцев, поневоле вспоминающих об Ирландии, или поляков, тревожащихся за Польшу, или итальянцев, сопереживающих делам в Италии, мы не испытываем ни ностальгической привязанности, ни неразрывного единства ни с одной из стран Старого Света: мы не были там – никогда – желанными гостями и не имеем намерения когда-нибудь туда возвратиться. Умей я облечь свои мысли и ощущения в столь изощренную форму, я бы наверняка так и подумал. Но люди, выскочившие на улицу, думали по-другому. На их взгляд, неупоминание Линдбергом евреев было не более чем хитростью, не более чем уловкой в самом начале длительной кампании лжи и обмана, и преследовала эта уловка двойную цель: заставить нас и заткнуться, и внутренне разоружиться. «Гитлер в Америке! – кричали соседи. – Фашизм в Америке! Военно-воздушный десант наци в Америке!» Немолодые люди, прошедшие долгую ночь без сна, они напридумывали себе всякого и ничуть не стеснялись в выражениях – и наговорились всласть, прежде чем разойтись по домам (где по-прежнему во всю мочь орало радио), – мужчины побрились, оделись и перехватили по чашке кофе перед работой, а женщины одели и накормили детей и приготовились провести день во всегдашних хлопотах.

Общее настроение поднял Рузвельт своей решительной реакцией на известие о том, что его соперником по президентской гонке стал Линдберг, а не какой-нибудь сенатор формата Тафта, энергичный и агрессивный прокурор вроде Дьюи или гладкий и обходительный адвокат типа Уилки. Разбуженный в четыре утра ошеломляющей новостью ФДР, по слухам, даже не поднявшись с постели, отчеканил: «К тому времени, когда все это закончится, молодой человек раскается не только в том, что ввязался в большую политику, но и в том, что когда-то обучился летному делу!» После чего президент вновь погрузился в сон – во всяком случае, именно такая история служила нам утешением весь следующий день. Высыпав ранним утром на улицу и вообразив себя плачущими на реках вавилонских, люди попросту забыли на какой-то момент о том, какая глыба Рузвельт и как трудно сдвинуть ее с места. Ужасный сюрприз, каким стало для нас выдвижение Линдберга, разбудил атавистическое чувство собственной незащитности и беспомощности, имеющее большее отношение к кишиневскому и прочим погромам 1903 года, нежели к ситуации в штате Нью-Джерси тридцать семь лет спустя, и, как следствие, эти люди забыли о том, что Рузвельт продвинул в Верховный суд Феликса Фрэнкфуртера, назна-

чил министром финансов Генри Моргантау и ввел в число советников президента финансиста Бернарда Баруха, и о госпоже Рузвельт, об Икесе и о министре сельского хозяйства Уоллесе они забыли тоже, а ведь все трое, как и сам президент, считались друзьями американского еврейства. На нашей стороне были Рузвельт, Конституция США, Билль о правах и, наконец, газеты – вольнолюбивая американская пресса. Даже республиканская «Ньюарк ивнинг ньюс» напечатала редакционную колонку, в которой напоявила читателю об антисемитской речи в Де-Мойне и в открытую усомнилась в мудрости решения по выдвижению Линдберга в кандидаты от партии, а «Пи-эм» – новый нью-йоркский таблоид крайне левого толка, стоящий всего никель, – отец неизменно приносил его домой по вечерам, наряду с «Ньюарк ньюс», – таблоид, слоган которого гласил: «“Пи-эм” враг тех, кто враг другим», развернул полномасштабное наступление на республиканцев, начиная с редакционной колонки, продолжая в отделе новостей и в выступлениях штатных колумнистов, буквально на каждой из тридцати двух страниц номера. Антилиндберговские заметки Тома Мини и Джое Каммиски появились даже в разделе «Спорт». На первой полосе было размещено крупномасштабное фото нацистского ордена, которым в Германии наградили Линдберга, а в иллюстрированном приложении, рекламируемом как место, где печатаются снимки, которых не рискнул бы опубликовать никто другой (вроде охваченной настроениями в духе судьи Линча толпы или нечеловеческих условий в американских тюрьмах), теперь, страница за страницей, шел фоторепортаж о поездке Линдберга в 1938 году по нацистской Германии, – и увенчивалось это снимком на всю полосу: Линдберг с пресловутым орденом на шее обменивается рукопожатием с Германом Герингом, вторым человеком в рейхе после самого Гитлера.

В воскресенье вечером мы слушали череду радиоскетчей, дожидаясь девятичасового выступления Уолтера Уинчелла. И когда он наконец подсел к микрофону и сказал именно то, что, как мы заранее надеялись, он и должен был сказать, оказался он, допустим, на нашем месте, – по всей улице прокатилась волна аплодисментов, как будто знаменитый радиокорментатор вещает не откуда-то издали, из-за не форсируемого нашим воображением Хадсона, а находится рядом с нами, в соседней комнате, и, развязав галстук, расстегнув ворот и стиснув кулаки, рвется в бой; его серая федора в пылу схватки съехала на затылок, а голос гремит в микрофон над покрытым клеенкой кухонным столом – точь-в-точь таким, как наш.

Стоял последний июньский вечер 1940 года. День выдался жаркий, но ближе к ночи стало достаточно прохладно, чтобы хотя бы не обливаться потом в душном помещении. И все же, когда ровно в четверть десятого Уинчелл закончил свой спич, родители решили, что нам всем вчетвером имеет смысл выйти подышать свежим воздухом. Мы собирались прогуляться лишь до угла и обратно – а потом нам с братом надо было в постель, – но легли мы в конце концов чуть ли не в полночь, и сна не было ни в одном глазу – слишком уж заразительным оказалось возбуждение, охватившее наших родителей. Из-за того, что бесстрашные нападки Уинчелла не оставили равнодушными никого и наши соседи выскочили на улицу вместе с нами, мероприятие, запланированное как краткая семейная прогулка, обернулось карнавалом на весь квартал. Мужчины извлекли из гаражей шезлонги и пляжные стулья и расставили их возле крылец, женщины вышли на улицу с кувшинами лимонада, самые младшие из детей бегали от одного подъезда к другому, как очумелые, а дети постарше, стоя в сторонке, хохотали во все горло – и все потому, что войну Линдбергу объявил самый известный после Альберта Эйнштейна еврей во всей Америке.

В конце концов, именно Уинчелл, – колонка которого, появляясь в трех независимых друг от друга таблоидах сразу, чем только усиливалось ее гипнотическое воздействие, разбирала по косточкам каждую горячую новость, – в каком-то смысле изобрел и в определенной мере ввел в практику нахальную манеру обстреливать доверчивую публику грязью слухов, губя тем самым репутации и карьеры, портя жизнь знаменитостям, «сдувая» славу, зажигая и гася звезды шоу-бизнеса. Но, наряду с колонкой, перепечатаваемой сотнями газет по всей стране,

Уинчелл вел и четвертьчасовую радиопередачу по воскресеньям вечером – и эти политические комментарии опять-таки пользовались бешеным успехом: сочетание тяжелого прицельного огня с воистину непревзойденным цинизмом придавало каждой уинчелловской канонаде сенсационный характер публично приводимой в исполнение смертной казни. Мы восхищались им как бесстрашным аутсайдером и проникновенным инсайдером, обладающим информацией из первых рук благодаря личной дружбе с директором ФБР Дж. Эдгаром Гувером, проживанию в соседних домах с могущественным «крестным отцом» Франком Костелло и вхожести в ближний круг советников ФДР; иногда Уинчелла даже приглашали в Белый дом поразвлечь президента за коктейлем. Уинчелл был задирой и забиякой, он был крутым парнем, перед которым трепетали недруги, – и он был на нашей стороне! Уинчелл, а вернее Виншел (а еще раньше – Вайншель) родился на Манхеттене и в юности танцевал в мюзиклах, начав карьеру на журналистском поприще сотрудничеством с высокооплачиваемой, но призванной потакать самым низменным инстинктам толпы бродвейской прессы. Однако едва в Германии началось восхождение Гитлера к власти – и задолго до того, как какое-нибудь другое из «золотых перьев» Америки сообразило, чем это пахнет, фашисты и антисемиты превратились для уинчелловских нападок в мишень номер один. Он уже успел окрестить членов Общества немецко-американской дружбы «крысистами» и принялся на радио и в печати разоблачать их лидера Фрица Куна как тайного иностранного агента, а теперь – после утренней шутки Рузвельта, редакционной колонки в «Ньюарк ньюс» и основательной проработки темы, предпринятой на страницах «Пи-эм», – Уолтеру Уинчеллу оставалось лишь донести до тридцати миллионов вечерних радиослушателей пронацистскую суть жизненной философии Линдберга и назвать его выдвижение величайшим вызовом американской демократии, чтобы все евреи, проживающие на маленькой Саммит-авеню, вновь почувствовали себя истинными американцами, полноправными членами динамично развивающегося гражданского общества, в котором свобода и безопасность, а если понадобится, то и защита, гарантированы государством, и перестали казаться толпой пациентов психлечебницы, затеявших на рассвете групповой побег в шлепанцах и в халатах.

Мой брат слыл в округе непревзойденным рисовальщиком, способным изобразить что угодно – велосипед, дерево, собаку, стул, какой-нибудь персонаж из комикса, – хотя в последнее время его интересовали главным образом лица реальных людей. Стоило ему после уроков, присев куда-нибудь, развернув крупноформатный блокнот на спиральке и достав механический карандаш, начать зарисовывать прохожих, как вокруг него собиралась малышня. И рано или поздно его принимались подначивать: «Нарисуй вон того! Нет, вон ту!» – и Сэнди уступал хотя бы затем, чтобы ему прекратили визжать в самые уши. Не переставая вести карандашом по листу, он переводил взгляд на объект изображения, потом вновь на бумагу, – и вот оно, готово! В чем тут фокус, спрашивали у него дети, как тебе это удается, – как будто в его умении добиваться портретного сходства и впрямь заключалось какое-то волшебство. Сэнди в ответ лишь пожимал плечами да улыбался; фокус состоял в том, чтобы быть спокойным, серьезным, ничем не выделяющимся из толпы мальчиком, а он таким и был. Всеобщее внимание к процессу, в ходе которого ему удавалось достичь столь поразительного сходства рисунка с оригиналом, не мешало ему рисовать словно бы машинально, врожденная скромность была его добродетелью, хотя позднее он и счел ее своим пороком.

Дома он больше не перерисовывал фотографии из глянцевого журнала вроде «Лука», а изучал строение человеческого тела по самоучителю для начинающего художника. Эту книгу он получил за победу в юношеском конкурсе на лучший плакат в честь Дня древонасаждения, проведенном в рамках общегородской программы празднования: одни высаживали деревья, другие рисовали плакаты, а департамент садово-паркового хозяйства подводил итоги. Награду ему вручили в торжественной обстановке, он даже обменялся рукопожатием с мистром Бануэртом, заведующим Бюро лесопосадок. Идея плаката, принесшего ему победу, оказалась, мягко говоря, позаимствована у красной почтовой марки ценой в два цента из моего

филателистического альбома, а выпуск самой марки был приурочен к шестнадцатой годовщине учреждения Дня древонасаждения. Марка эта казалась мне исключительно изысканной, потому что на каждом из ее вертикальных узких белых полей было изображено по дереву, которые, сплетаясь ветвями на центральном поле, образовывали новое дерево – уже не дерево, а самое настоящее древо, – и до тех пор, пока мне не подарили эту марку и я не получил возможность как следует изучить ее сквозь увеличительное стекло, значение слова «дерево» оставалось для меня загадочным, ассоциируясь лишь с популярным общегородским праздником. (Маленькое увеличительное стекло вместе с альбомом на две тысячи пятьсот марок, штампом для гашения, перфоратором, клеем и так называемой «водяной маркой» я получил в подарок от родителей на семь лет. Раскошелившись еще на десять центов, они купили мне книжицу страниц этак на девяносто под названием «Карманный справочник филателиста», в которой под рубрикой «Как начать собирать собственную коллекцию» я с восторгом прочитал нижеследующий пассаж: «На старой деловой или личной корреспонденции часто оказываются марки серий, выпуск которых уже прерван, и они представляют собой большую ценность; так что если у вас есть друзья, живущие в старых домах, на чердаках которых могут храниться материалы такого сорта, попробуйте получить доступ к конвертам и обертке бандеролей». Чердака у нас не было, да и никто из наших друзей и знакомых не жил в меблированных комнатах или квартирах с чердаками, но вот в Юнионе, в тамошних домах на одну семью, чердаки имелись, и я отлично видел это с заднего сиденья машины – маленькое чердачное окно спереди и маленькое чердачное окно сзади в каждом домике – в ту чертову субботнюю поездку год назад, – и вот, когда мы вернулись из Юниона, я только и думал о том, что все марки со старых писем и бандеролей, без толку валяющихся на тамошних чердаках, были бы мои, но мне не получить доступа, потому что я еврей.)

Красота марки, выпущенной ко Дню древонасаждения, резко возростала благодаря вовлечению человеческого фактора – подобно тому, как картина может оказаться портретом какой-нибудь знаменитости или изображением не менее знаменитых развалин. Человеческий фактор, дополнительно усиленный тем, что речь шла о детях: в центре марки мальчик и девочка лет десяти-одиннадцати высаживали молодое деревцо, причем мальчик орудовал лопатой, тогда как девочка, обняв ствол одной рукой, удерживала саженец аккуратно в центре вырытой мальчиком ямки. Сэнди на своем плакате поменял мальчика и девочку местами (исправив ошибку автора марки, сделавшего мальчика левшой), одел его в длинные брюки вместо бриджей и водрузил его ногу на заступ лопаты, вонзающей в землю. Сэнди пририсовал и третьего ребенка – мальчика примерно моего возраста, и вот его как раз одел в бриджи. Мальчик застыл на плакате чуть сзади и сбоку от деревца, держа наготове садовую лейку. Именно так я и стоял, позируя брату, – в моих лучших школьных бриджах и гетрах. Стоит добавить, что идея пририсовать ребенка принадлежала моей матери – для того, чтобы придать рисунку Сэнди оригинальность и избавить от обвинений в плагиате, но вместе с тем и чтобы придать рисунку социальную значимость, выведя плакат на уровень обобщения, в 1940 году далеко не тривиального – ни в области плаката, ни где бы то ни было еще, – и, пожалуй, способного, разумеется, «исключительно из эстетических соображений», показаться членам жюри неприемлемым.

Потому что третий ребенок на рисунке был негром – и своим появлением он был обязан (помимо желания матери воспитать в своих сыновьях расовую терпимость) еще одной марке из моей коллекции – совершенно новой марке за десять центов из так называемой «учебной серии» в пять марок разного достоинства, которая досталась мне на почте по оптовой цене в двадцать один цент, – и эту сумму мне пришлось на протяжении всего марта выплачивать из карманных денег, а давали мне родители по четвертаку в неделю. В центре каждой марки этой серии располагался портрет, а над ним была помещена лампа, которую Почтовая служба США назвала «Светочем знаний» и которую я про себя считал волшебной лампой Аладдина из-за

иллюстрации к «Тысяче и одной ночи», на которой был изображен мальчик с означенной лампой, с кольцом и с двумя джиннами, которые давали ему все, о чем он просил. Я бы, конечно, попросил у джиннов самые редкие почтовые марки США: во-первых, приуроченную к победе в 1918 году авиамарку за двадцать четыре цента (теперешняя цена ее составляла три тысячи четыреста долларов), на которой боевой истребитель ВВС США летит задом наперед; а уж во вторую очередь – три знаменитые марки из серии, посвященной панамериканской выставке 1901 года, также напечатанные вверх тормашками и стоящие по тысяче долларов каждая.

На зеленой марке номинальным достоинством в один цент прямо над «Светочем знаний» красовался Хорас Манн, на красной, номинальным достоинством в два цента, – Марк Хопкинс, на пурпурной, в три цента, – Чарлз У. Элиот, на синей, в четыре цента, – Фрэнсис Э. Уиллард и наконец на коричневой – Букер Т. Вашингтон, первый негр, портрет которого был помещен на почтовую марку США. Я припоминаю, что, отправив Букера Т. Вашингтона в альбом и показав матери всю серию в пять марок, я спросил у нее: «А как ты думаешь, еврей когда-нибудь появится на почтовой марке?» – и она ответила: «Думаю, что да, когда-нибудь. По меньшей мере, я на это надеюсь». Однако прождать понадобилось еще двадцать шесть лет – и этим евреем оказался не кто-нибудь, а Эйнштейн.

Сэнди сумел сэкономить из еженедельных двадцати пяти центов на карманные расходы и добавил из нерегулярных заработков за уборку снега и осенних листьев и мытье семейного автомобиля – и скопил за несколько месяцев достаточно, чтобы, отправившись на велосипеде в художественный магазин на Клинтон-авеню, закупить сперва угольных карандашей, потом наждачной бумаги для заточки их грифелей, потом ватмана, потом особого пылевидного металлического состава, который наносят на ватман, чтобы рисунок углем не смазывался. Он обзавелся большими скрепками, грифельной доской, желтыми карандашами «Тикондерога», стирательными резинками, блокнотами для набросков и просто белой бумагой – и хранил все это хозяйство в картонке из-под овощей, держа ее на дне платяного шкафа в нашей комнате, причем мать, прибираясь, не имела права туда лазить. Его неистощимый энтузиазм (унаследованный от матери) и феноменальное упорство (перешедшее, в свою очередь, от отца) лишь заставляли меня все сильнее восхищаться старшим братом, которому – и на этом сходились все – предстояли великие дела, тогда как большинство парней его возраста – сущие дикари, которым только бы пожрать, да и то – так, чтобы ни с кем не делиться. Я и сам был хорошим мальчиком, слушался старших и дома, и в школе – мое своеволие еще не проснулось, агрессивный потенциал не проявился и в малой мере, одним словом, по малолетству я еще не был самим собой. Ну а уж с братом я и вовсе был сама кротость.

На двенадцатилетие Сэнди получил большой черный плоский альбом ватмана с механизмом, позволяющим разъединять и вновь скреплять листы, и на двух шнурках, которые он тут же завязал бантиком, чтобы ватман оставался как можно более гладким. Габариты альбома были примерно два фута на полтора – то есть он оказался слишком велик, чтобы поставить его на книжную полку или прислонить к стене в платяном шкафу нашей общей комнаты. Поэтому Сэнди решил держать альбом – вместе со своими блокнотами на спиральях – прямо под кроватью, где хранил рисунки, которые считал наиболее удачными, начиная с шедевра композиции, датированного 1936 годом и представляющего собой портрет матери в толпе, с перстом, воздетым в небо и указующим на устремившийся в Париж «Дух Сент-Луиса». Сэнди сделал несколько крупных портретов героя-летчика и карандашом, и углем – и держал их все в том же альбоме. Эти портреты входили в задуманную им серию «Великие американцы», в которую поначалу оказались включены здравствующие и главным образом глубоко чтимые нашими родителями особы – такие как господин и госпожа Рузвельт, мэр Нью-Йорка Фьорелло Лагуардия, председатель объединенного профсоюза шахтеров Джон Л. Льюис и романистка Перл Бак, получившая Нобелевскую премию по литературе в 1938 году, – ее портрет Сэнди срисовал с обложки одного из ее бестселлеров. В альбоме было немало портретов членов нашей семьи,

причем не меньше половины из общего числа приходилось на нашу единственную остающуюся в живых, так сказать, прародительницу – то есть бабушку по отцовской линии, которая порой соглашалась попозировать Сэнди по воскресеньям, когда мой дядя Монти привозил ее к нам в гости. Благоговейно одержимый словосочетанием «преклонный возраст», брат тщательно прорисовывал каждую морщинку на лице и каждую опухлость на пораженных артритом пальцах, пока сама прародительница, сидя за кухонным столом, «позировала» ему с той же невозмутимостью, с какой на протяжении всей жизни готовила у очага на семью из девяти человек или, стоя на коленях, мыла полы.

Через пару дней после выступления Уинчелла мы с братом оставались дома одни. И вдруг Сэнди извлек альбом из-под кровати и вынес его в столовую. Открыл на столе, за который мы усаживались лишь принимая Босса или в других торжественных случаях, извлек один за другим из-под папиросной бумаги, защищающей их от порчи, портреты Линдберга и разложил их на столе в определенном порядке. На первом рисунке Линдберг был изображен в летном шлеме с натянутыми на уши наушниками, на втором – шлем был едва заметен из-за больших защитных очков, надетых на глаза и практически закрывающих лоб, на третьем – он стоял с непокрытой головой, и ничто, кроме взгляда, устремленного в туманную даль, не выдавало в нем летчика. Не трудно было понять, как именно Сэнди относится к персонажу своих рисунков. Как к живому воплощению мужества. Как к отважному искателю приключений. Как к человеку, самой природой наделенному титанической силой и удалью. А вовсе не как к внушающему страх извергу рода человеческого.

– Он будет президентом, – сказал мне Сэнди. – Элвин сказал, что он выиграет.

Это так смутило и напугало меня, что я, притворившись, будто брат пошутил, громко рассмеялся.

– Элвин собрался в Канаду, чтобы поступить на службу в тамошнюю армию, – продолжил Сэнди. – Он хочет вместе с англичанами воевать против Гитлера.

– Но никому не выиграть у Рузвельта, – возразил я.

– Линдберг выиграет. Америка станет фашистской.

Мы стояли у стола, вдыхая жуткую ауру, источаемую разложенными на нем портретами. Никогда еще собственная малость не была для меня так обидна.

– Никому не говори про эти портреты, – сказал мне Сэнди.

– Но мама с папой их уже видели. Они все твои рисунки видели. Да и другие люди тоже видели.

– Я сказал, что порвал их.

Не было человека более надежного, чем мой старший брат. Он держался несколько неприметно, но не потому, что секретничал или обманывал, а потому, что просто-напросто никогда не делал ничего плохого, а значит, и скрывать ему было нечего. Но сейчас, когда входящие обстоятельства изменили смысл его рисунков, превратив их в то, чем они на самом деле не были, он сказал родителям, будто порвал их, в свою очередь, превратившись в то, чем на самом деле не был.

– А если они найдут? – спросил я.

– Как это – найдут?

– Ну, не знаю.

– Именно что не знаешь. Главное, сам помалкивай – и никто ничего не найдет.

Я послушался его по целому ряду причин, одна из которых заключалась вот в чем: третьей по старшинству маркой в моей коллекции – которую я, разумеется, ни за что бы не порвал и не выбросил, – была десятицентовая авиамарка, выпущенная в 1927 году в честь трансатлантического перелета Линдберга. Голубая марка – по горизонтали в два раза длинней, чем по вертикали, – на которой «Дух Сент-Луиса» перелетает океан с запада на восток, послужила Сэнди моделью для изображения самолета на его рисунке, посвященном материнской бере-

менности. Ближе к левому полю марки шла береговая линия Северной Америки с пометкой «Нью-Йорк», тогда как по правому полю располагались контуры Ирландии и Великобритании и береговая линия Франции с пометкой «Париж», причем «Нью-Йорк» и «Париж» были соединены аркой, обозначающей беспосадочный перелет между двумя городами. На самом верху марки под крупной надписью «ПОЧТА США» было выведено «ЛИНДБЕРГ – АВИА-ПОЧТА» – пусть и шрифтом самую малость помельче, но достаточно крупно, чтобы эти слова мог разобрать семилетний мальчик, не страдающий ни близорукостью, ни дальновзоркостью. Уже тогда каталог оценивал эту марку в двадцать центов – и, как я моментально сообразил, ее стоимость будет только возрастать (причем так стремительно, что она станет главным моим сокровищем), если Элвин окажется прав и случится самое худшее.

В долгие месяцы летних каникул мы играли на тротуаре в новую игру «Объявление войны», для которой всего-то и нужны были дешевый резиновый мяч и кусок мела. Мелом мы чертили на асфальте круг пяти-шести футов в диаметре и разбивали его на сектора по числу игроков. В каждый сектор вписывалось название той или иной страны, мелькавших в новостях на протяжении всего года. Затем каждый выбирал «свою» страну и становился в круг одной ногой, держа другую на отлете, чтобы успеть, когда придет пора, сорваться с места. Меж тем водящий, подняв мяч в воздух, медленно, с растяжкой произносил: «Я... объявляю... войну...» – и тут наступала томительная пауза, пока он не бросит мяч оземь и не выкрикнет: «Германии!», или «Японии!», или «Голландии!», или «Италии!», или «Бельгии!», или «Англии!», или «Китаю», а порой и «Америке!», после чего все, кроме того, кому только что объявили войну, бросались врассыпную. А вот он должен был сперва поймать мяч, причем как можно быстрее, а потом крикнуть: «Стоп!» По этому сигналу каждый из остальных замирал на месте, а общий «враг» переходил в контрнаступление, метя мячом в соперников и начиная, естественно, с того, который оказался ближе всех, и после каждого меткого «выстрела» переходя на захваченную позицию.

Мы предавались этой забаве чуть ли не сутками напролет. И если не шел дождь, смывая с тротуара названия стран, то проходим приходилось или перешагивать через них, или на них наступать. Никаких других граффити в те дни в нашей округе не было – лишь эти полустершиеся каракули бесхитростной уличной игры. Игры достаточно безобидной, и все же какая-нибудь из матерей, на протяжении многих часов слушая доносящиеся из окна выкрики, начала сердиться. «Неужели вам, дети, больше нечем заняться? Неужели вы не можете придумать другой игры?» Но мы не могли: «Объявление войны» – только о нем мы и думали.

18 июля 1940 на съезде Демократической партии в Чикаго ФДР был триумфально выдвигнут кандидатом в президенты на третий срок, что произошло уже в первом туре голосований. Мы слушали по радио речь, в которой он согласился на выдвижение, – все тем же внушающим доверие голосом представителя высшего класса, который вот уже на протяжении почти восьми лет, вопреки всем трудностям, не позволял впасть в отчаяние миллионам обыкновенных американских семей вроде нашей. Сама по себе радиотрансляция, пусть еще не вполне привычная, не только умеряла нашу тревогу, но и приобретала для всей семьи в некотором смысле историческое значение, властно сплавляя наши судьбы с судьбой президента, да и народа в целом, ведь, обращаясь к семейству Ротов, усевшемуся у себя в гостиной, он называл нас согражданами. То, что Америка может проголосовать за Линдберга... то, что она может проголосовать за кого угодно другого, а не за пошедшего на третий срок президента, сам голос которого, казалось, обладает способностью вносить здравый смысл в человеческую сумятицу... Нет, такое просто не укладывалось в голову – во всяком случае, в голову столь юного американца, каким был я и который просто-напросто никогда не слышал другого президентского голоса, кроме этого.

Где-то через шесть недель, в субботу перед Днем труда, Линдберг удивил страну, не показавшись на торжественном параде в Детройте, откуда он, как предполагалось заранее, должен

был отправиться в предвыборный автопробег по изоляционистской американской промышленной глубинке (и цитадели антисемитизма под знаменем преподобного Коффлина и Генри Форда), а без лишнего шума прибыв вместо этого в аэропорт на Лонг-Айленде, откуда он тринадцать лет назад стартовал, отправившись в беспримерный трансатлантический перелет. Сюда же тайком отбуксировали «Дух Сент-Луиса» и продержали целую ночь в ангаре на задворках, хотя на следующее утро, когда Линдберг вывел самолет на взлетную полосу, каждое телеграфное агентство по всей Америке, каждая радиостанция или газета во всем Нью-Йорке уже успели прислать репортера, которому (а вернее, которым) и надлежало теперь засвидетельствовать знаменательное событие: новый выдающийся перелет, но уже на Запад, через весь континент, в Калифорнию, а не на Восток, в Европу, через Атлантический океан. Конечно же, к 1940 году коммерческая авиация перевозила грузы, пассажиров и почту через континент уже более чем десятилетие, причем произошло это во многом благодаря личным усилиям самого Линдберга в должности консультанта вновь организованных авиалиний на миллионном (в год) окладе. Однако Линдберг начал свою избирательную кампанию трансконтинентальным перелетом отнюдь не в роли высокооплачиваемого лоббиста коммерческой авиации, да и не тот это был Линдберг, которого чествовали и наградили орденом берлинские нацисты, да и не тот, что в радиоречи, транслируемой по всей стране, обвинил якобы чрезвычайно могущественное еврейство в том, что оно втягивает Америку в войну, и даже не тот муж славы и страдалец, сына которого похитил и убил Бруно Гауптман в 1932 году. Скорее он предстал в качестве словно бы никому еще не известного авиатора, осмелившегося сделать то, на что до него не решался ни один летчик; в качестве героя-одиночки, молодого (по меньшей мере, молодежавого) и не испорченного даже годами феноменальной славы. В последний уик-энд на исходе лета Линдберг чуть было не побил собственный рекорд беспосадочного трансконтинентального перелета, поставленный им десятью годами ранее, на самолете куда более совершенном, чем старенький «Дух Сент-Луиса». Но пусть и не побил – восторженная толпа встречающих в лос-анджелесском аэропорту, состоящая главным образом из тружеников авиапрома и насчитывающая десятки тысяч людей (в Лос-Анджелесе и вокруг него дела шли круто в гору), приветствовала его с тем же энтузиазмом, который поджидал его повсюду.

Демократы, разумеется, назвали этот перелет рекламным трюком, разработанным в предвыборном штабе Линдберга, хотя на самом деле решение было принято всего за несколько часов до старта – и принято самим Линдбергом, а вовсе не профессиональными политтехнологами, нанятыми Республиканской партией, чтобы благополучно провести дебютанта сквозь рифы его первой в жизни политической кампании. Политтехнологи, как и вся партия, ждали его на парад в Детройте.

Речь его была безыскусна и ясна, голос – высок, не слишком хорошо модулирован, выговор – средне-западный, – и все это вместе взятое лишней раз противопоставляло его Рузвельту. В полет он обулся в сапоги, надел брюки для верховой езды, белую рубашку с галстуком и легкий пуловер – точь-в-точь так же выглядел он и в день исторического перелета через Атлантику, – и говорил, не сняв ни шлема, ни защитных очков, – именно таким изобразил его Сэнди на рисунке, который сейчас лежал под кроватью.

– Я решил вступить в президентскую гонку, – заявил он толпе после того, как она прекратила наконец скандировать его имя, – чтобы спасти американскую демократию, а сделать это можно, лишь удержав Америку от вступления в новую мировую войну. Итак, вам предстоит предельно простой выбор. Выбор не между Чарлзом Э. Линдбергом и Франклином Делано Рузвельтом, а между Линдбергом и войной.

Такова была его речь – длиной в сорок четыре слова, включая и инициал «Э» при произнесении собственного имени.

Приняв душ, перекусив и часок поспав прямо в аэропорту, кандидат в президенты вновь поднялся на борт «Духа Сент-Луиса» и полетел в Сан-Франциско. К вечеру он очутился уже

в Сакраменто. И где бы он в этот день ни приземлялся на калифорнийской территории, все тут же забывали о том, что в стране имели место знаменитая паника на Уолл-стрит и Великая депрессия (да, кстати говоря, и триумфы ФДР), забывали даже о том, что за войну он, собственно говоря, собирается предотвратить. Линди слетал с небес на своем знаменитом аэроплане – и переносил действие в 1927 год. И это был и впрямь Линди – простой парень, вовсе не старающийся подчеркнуть собственное превосходство и все равно превосходящий всех и вся, – бесстрашный Линди, все такой же юный и вместе с тем решительно возмужавший, ершистый индивидуалист, любимец и эталон всей Америки, умеющий добиваться невозможного, целиком и полностью полагаясь лишь на самого себя.

За следующие полтора месяца он облетел все сорок восемь штатов, проведя ровно по одному дню в каждом, и наконец в третьей декаде октября вернулся на Лонг-Айленд, откуда стартовал накануне Дня труда. В дневные часы, пока позволяла видимость, он перелетал из города в город, не брезгуя и поселками, приземлялся прямо на шоссе, если в округе не было аэропорта, а то и на лугу – когда залетал в самую глушь поговорить с фермерами и кто там еще оказывался на месте. Его короткие спичи, произносимые прямо на летном поле, тут же транслировались местными и региональными радиостанциями, а несколько раз в неделю, когда ему случалось заночевать в столице какого-нибудь штата, он обращался по радио ко всей нации. Речи его неизменно отличались краткостью и звучали примерно так: «Предотвратить войну в Европе уже слишком поздно. Но еще не поздно удержать Америку от вступления в эту войну. ФДР ведет страну в ложном направлении. Он обещает мир, а на самом деле готовится к войне. Твой выбор прост. Голосуй за Линдберга или голосуй за войну».

Будучи молодым летчиком еще в те дни, когда авиация была в диковинку, Линдберг на пару с опытным штурманом потешал толпы на Среднем Западе прыжками с парашютом и балансированием на крыле самолета без подстраховки, – и сейчас демократы поспешили сопоставить его нынешнее предвыборное турне на борту «Духа Сент-Луиса» с тогдашней летной клоунадой. На пресс-конференциях действующего президента и кандидата в президенты Рузвельт просто-напросто пропускал мимо ушей вопросы о Линдберге и о его нетрадиционной предвыборной кампании, невозмутимо продолжая обсуждать страх Черчилля перед германским вторжением в Великобританию, необходимость первого «мирного» займа компании, о которой он вот-вот заявит Конгрессу, или решимость предостеречь Гитлера против создания каких бы то ни было препятствий торговому флоту США, даже если речь идет об оказании прямой военной помощи англичанам. С самого начала было ясно, что предвыборная кампания самого Рузвельта пройдет исключительно в стенах Белого дома, где президент, пренебрегая карнавальными ужимками Линдберга (по слову госсекретаря Икеса), употребив всю имеющуюся в его распоряжении власть и работая, если это потребуется, круглыми сутками, сумеет найти адекватный ответ на все вызовы в стране и в мире.

Дважды за время предвыборного авиатурне Линдберг «пропадал» в условиях непогоды – и оба раза проходило по несколько часов, прежде чем с ним удавалось наладить радиоконтакт и он оказывался в состоянии сообщить стране, что с ним все в порядке. Но вот в октябре, в тот самый день, когда американцы, внутренне обмерев, узнали, что в ходе последнего ночного авианалета на Лондон немцам удалось разбомбить собор Св. Павла, ближе к обеду передали, что «Дух Сент-Луиса» загорелся в небе над Аллеганями и в пламени рухнул наземь. На этот раз прошло шесть долгих часов, прежде чем ужасную новость подкорректировали: оказывается, имели место неполадки с мотором, а вовсе не взрыв в воздухе, и, соответственно, не падение, а аварийная посадка в совершенно не приспособленной для этого холмистой местности в западной Пенсильвании. Однако прежде чем подоспела «благая весть», телефон в нашей квартире буквально обрывался – друзья и родственники спешили обсудить с моими родителями возможные последствия рокового, как тогда думалось, инцидента. В моем с братом присутствии родители, разумеется, не позволяли себе проявить радость в связи с предполагаемой

гибелью Линдберга, но и сильного огорчения не выказывали, – и, уж понятно, их не было на улице в ликующей толпе в одиннадцать вечера, когда передали, что Одинокий Орел вовсе не погиб в огне, а благополучно приземлился, и самолет его тоже не пострадал серьезно, – и Линдберг ждет единственно того, чтобы ему подвезли запчасти, чтобы, подремонтировав «Дух...», взмыть в небо и продолжить турне.

Тем октябрьским утром, когда Линдберг приземлился в аэропорту Ньюарка, в восторженной толпе встречающих находился и рабби Лайонел Бенгельсдорф из синагоги «Бней Моше» – первом из ортодоксально-иудейских храмов, открытых в городе прибывшими из Польши евреями. «Бней Моше» находилась всего в паре кварталов от старого «биндюжного гетто», все еще остающегося беднейшим районом города, хотя прихожан синагоги уже вытеснили оттуда постоянно прибывающие с юга работающие и на своем уровне преуспевающие негры. Да и сама синагога с годами постепенно приходила в упадок, прежде всего в плане собственной респектабельности; к 1940 году ее более или менее обеспеченные прихожане или отказались от ортодоксального иудаизма в пользу хасидизма – и, соответственно, начали посещать синагоги «Бней Ешурун» или «Охев Шалом», – или, оставаясь ортодоксами, предпочли ей синагогу «Бней Авраам», первоначально расположенную несколькими милями западнее в помещении бывшей баптистской церкви, а в самое последнее время перенесенную во вновь отстроенное здание практически по соседству с домами еврейских врачей и адвокатов на Клинтон-хилл. Новая «Бней Авраам» стала самым роскошным храмом во всем городе: это было круглое здание, выстроенное в так называемом античном стиле, и в священную субботу синагога могла принять до тысячи человек одновременно. Иоахим Принц, чудом вырвавшийся из лап гестапо в гитлеровском Берлине, год назад стал тамошним раввином, сменив на этом посту удалившегося на покой Юлиуса Зильберфельда, и уже успел зарекомендовать себя энергичным человеком с широкими общественными интересами; причем о многовековой страдальческой истории еврейского народа он рассказывал своим преуспевающим прихожанам главным образом на собственном кровавом примере.

Что же касается рабби Бенгельсдорфа, то его проповеди еженедельно транслировались по еврейскому радио для тех, кого он именовал своей радиопаствой, к тому же он был автором нескольких сборничков проникновенной лирики, которые у нас было принято дарить мальчикам на бар мицву и молодоженам на свадьбу. Он родился в 1879 году в Южной Каролине, в семье торговца сухофруктами, приехавшего из Европы, – и когда он обращался к своей аудитории – очной или заочной, – его певучий голос в сочетании с сочным южным выговором (включая певучесть и сочность его собственного имени) производил впечатление не выставляющего себя напоказ, но и ни в коей мере не скромничающего достоинства. Например, рассуждая однажды по радио о своей дружбе с рабби Зильберфельдом из синагоги «Бней Авраам» и рабби Фостером из «Ешурун», он изрек: «Такова воля судьбы: в Древней Греции их было трое – Сократ, Платон и Аристотель, и в нынешней религиозной жизни нас тоже трое». Без ложной скромности объяснил он радиослушателям и обстоятельства, по которым раввин его уровня не оставляет службу в синагоге с практически исчезнувшей паствой: «Может быть, вас заинтересует и мой ответ на вопрос, постоянно задаваемый мне буквально тысячами единоверцев. “Почему вы пренебрегаете коммерческими преимуществами разъездного – в высоком аристотелевском смысле – священничества? Почему остаетесь в Ньюарке, в синагоге Бней Моше, даже не совмещая тамошнюю службу ни с какой другой, если ежедневно, чтобы не сказать ежечасно, вам поступает по полдюжине предложений занять место более видное и, соответственно, более завидное?”» Рабби получил превосходное образование как в Европе, так и в США и, по слухам, говорил на десяти языках; ему приписывали также обширные познания в области классической философии, богословия, искусствоведения, античной, новой и новейшей истории; слыл он также человеком исключительно принципиальным и принципиально не пользующимся записями и заметками в ходе публичных выступлений, однако никогда не появ-

ляющимся перед аудиторией без постоянно и повседневно пополняемой картотеки крылатых слов, из которой он по необходимости и выхватывал каталожную карточку с тем или иным изречением. Был он также превосходным наездником, умеющим сдерживать коня на скаку столь же стремительно, как и бьющую через край мысль, и держащимся в седле с той же уверенностью, что и за письменным столом. Каждое утро на рассвете он гарцевал по аллеям Виквахик-парка об руку с женой – дочерью и наследницей богатейшего ювелира во всем Ньюарке, пока та не умерла от рака в 1936 году. В ее фамильном особняке на Элизабет-авеню, в котором пара поселилась в 1907 году сразу же после свадьбы, хранилось собрание иудаики, считавшееся одной из самых богатых коллекций такого рода во всем мире.

К 1940 году Лайонел Бенгельсдорф утверждал, будто является всеамериканским рекордсменом по службе на протяжении многих лет в одной-единственной синагоге. В газетах его называли духовным лидером ньюаркского еврейства и, откликаясь на его бесчисленные появления на публике, неизменно отмечали ораторский дар; ну и о десяти языках тоже не забывали. В 1915 году на праздновании 250-летия Ньюарка его усадили за один стол с мэром города и предоставили ему право обратиться к собравшимся – точь-в-точь так же, как он привык ежегодно обращаться к собравшимся на шествиях в День поминовения или на Четвертое июля: РАВВИН ПРИВЕТСТВУЕТ ДЕКЛАРАЦИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ – 5 июля каждого года «Стар-Леджер» выходила именно под такой «шапкой». Призывая в своих проповедях и лекциях к развитию американских идеалов как к первоочередной цели американского еврейства и к дальнейшей американизации американцев как к лучшему противоядию демократии против большевизма, радикализма и анархизма, он частенько цитировал последнее обращение к нации Теодора Рузвельта, в котором покойный президент, наряду с прочим, сказал: «У нас не может быть и речи о двойной лояльности. Каждый, кто утверждает, что он и американец, и еще кто-то, американцем не является. У нас есть место лишь для одного флага, и это государственный флаг США». Рабби Бенгельсдорф говорил о дальнейшей американизации американцев в каждой церкви Ньюарка и в каждой школе, говорил, обращаясь к каждой этнической, религиозной и историко-культурной группе населения, а разделы новостей в ньюаркских газетах, в которых помещались краткие отчеты о его выступлениях, пестрели названиями десятков городов по всей стране, в которых (и которые) рабби Бенгельсдорф призывал провести конференции и съезды по заданной им теме, равно как и по множеству других, им затронутых, – от природы преступления и необходимости проведения реформы исправительных учреждений – «Движение в пользу реформы исправительных учреждений проникнуто высокими моральными принципами и религиозными идеалами» – до причин мировой войны – «Война стала результатом столкновения всемирных амбиций европейских держав в их стремлении к военной мощи, власти и обогащению», – до значения детских садов и в особенности яслей – «Ясли и детские сады – это и впрямь сады жизни, засеянные человеческими ростками, в которых каждой малютке дают возможность вырасти в атмосфере счастья и радости», – до пороков индустриальной эры – «Мы убеждены в том, что достоинство трудящегося человека не может быть измерено суммарной стоимостью производимой им продукции», – до суффражистского движения, одно из главных требований которого – предоставить женщинам избирательные права, – вызывало у нашего славного рабби самые серьезные возражения, потому что: «Если уж мужчины не в состоянии разумно управлять государством, почему бы не помочь им в этом? Почему не избыть зло вместо того, чтобы удваивать его, позволяя голосовать и женщинам?» Мой дядя Монти, ненавидевший всех раввинов и питавший отдельную ни с чем не сравнимую злобу к Бенгельсдорфу (восходящую к годам отрочества и учения в еврейской школе при синагоге «Бней Моше»), частенько говорил о нем: «Этот важный индюк знает все на свете. Какая жалость, что он не знает ни хрена другого».

Появление Рабби Бенгельсдорфа в аэропорту, – где, согласно подписи под фотографией на первой полосе «Ньюарк ньюс», он встал первым в очередь пожать руку Линдбергу, едва тот

покинет борт «Духа Сент-Луиса», – изрядно озадачило городских евреев (и моих родителей в том числе), удивило их и интервью, данное раввином газете в ходе краткосрочного визита Линдберга в Ньюарк. «Я пришел сюда, – заявил Бенгельсдорф репортеру “Ньюс”, – чтобы разрушить до основания стену сомнения в лояльности американских евреев Соединенным Штатам Америки. Я поддерживаю кандидатуру полковника Линдберга и готов оказывать этому кандидату всяческое содействие, потому что политические представления моего народа совпадают со взглядами полковника. Америка – наше возлюбленное отечество. Наша религия не связана ни с какой землей, кроме этой великой страны, быть гражданами которой мы гордимся и благоговейную верность интересам которой храним ныне и намереваемся сохранить во веки веков. Я хочу, чтобы Чарлз Линдберг стал моим президентом, не вопреки тому, что я еврей, но благодаря тому, что я еврей – американский еврей!»

Тремя днями позже Бенгельсдорф принял участие в большом митинге на Мэдисон-сквер-гарден, приуроченном к завершению авиатурне Линдберга. До выборов оставались еще две недели, и, хотя вспышки популярности кандидата от республиканцев отмечались кое-где на традиционно демократическом Юге и жестокая борьба на равных ожидалась в наиболее консервативных штатах Среднего Запада, общенациональные опросы показывали уверенное лидерство Рузвельта – как по общему числу избирателей, так и с оглядкой на расклад голосов выборщиков по штатам, причем во втором случае отрыв лидера от преследователя был еще существеннее, чем в первом. Поговаривали о том, что вожди республиканцев пребывают в отчаянии из-за ослиного упрямства своего кандидата, который, ведя кампанию, не прислушивается ни к чьим советам, – и сам митинг на Мэдисон-сквер-гарден был назначен на второй понедельник октября и транслировался по всей стране главным образом затем, чтобы выгнать летчика из грозовых туч для него и для партии туч политической самодеятельности и окунуть в куда более благотворную атмосферу в духе памятного филадельфийского съезда.

Пятнадцать ораторов, выступивших в поддержку Линдберга в тот вечер, были представлены публике как выдающиеся каждый в своей области деятельности американцы. Среди них был знатный фермер, рассуждающий о страшном уроне, который война неизбежно нанесет сельскому хозяйству США, и без того разоренному годами первой мировой войны и Великой депрессии; профсоюзный лидер, плачущий о катастрофе, какую война неминуемо обернется для американских рабочих, не только трудовая деятельность, но и жизнь которых будет протекать по предписаниям правительства и законам военного времени; фабрикант, запугивающий полным коллапсом американской промышленности в длительной перспективе, обусловленным работой на износ в удовлетворение нужд воюющей армии и дополнительными налогами на войну; протестантский священник, вздыхающий о неизбежной порче нравов – особенно среди мобилизованной на войну молодежи – под воздействием современных методов ведения войны; католический священник, опасющийся того же, но с особым упором на духовную жизнь нашего миролюбивого народа, на угрозу нашей природной доброте и порядочности со стороны разбуженной войной ненависти. Наконец слово предоставили и раввину – Лайонелу Бенгельсдорфу, штат Нью-Джерси, которого толпа приверженцев Линдберга встретила особенно дружными и горячими аплодисментами и который участвовал в митинге, наряду с прочим, в доказательство того, что пресловутая связь Линдберга с нацистами – не что иное как грязный навет.

– Ммда, – сказал Элвин, – они его купили. Вот в чем дело. Продели в носяру золотое кольцо и водят за собой куда угодно.

– Не скажи, – возразил отец, но вовсе не потому, что сам не был возмущен поведением Бенгельсдорфа. – Давай послушаем. Человека нужно сначала выслушать до конца...

Обращался он к Элвину, но говорил скорее для Сэнди и для меня, чтобы не напугать нас чудовищным поворотом событий в той мере, в которой им были напуганы сами взрослые. Накануне ночью во сне я свалился с кровати, чего не случалось с тех пор, как я перебрался из

младенческой кровати, которую отец с матерью подпирали кухонными стульями, чтобы я из нее не выпадал. А когда было высказано предположение, переходящее в уверенность, что мое падение после столь долгого перерыва не могло быть обусловлено ничем иным, кроме предстоящего прилета Линдберга в Ньюарк, я принялся категорически отрицать тот факт, что прошлой ночью мне приснился Линдберг, утверждая, будто помню лишь, как проснулся на полу между двумя кроватями, собственной и брата, тогда как на самом деле знал, что с некоторых пор просто-напросто не могу уснуть, не вообразив предварительно Линдберга таким, каким он запечатлен на рисунках Сэнди, таящихся у него под кроватью. Мне постоянно хотелось попросить брата перепрятать эти рисунки куда-нибудь в кладовку, но поскольку я поклялся не говорить о них никому – и поскольку сам не мог расстаться с маркой, выпущенной в честь Линдберга, – мне было страшно поднять этот вопрос, не говоря уж о том, чтобы упрекнуть брата, в поддержке которого я сейчас нуждался как никогда раньше.

Вечер выдался холодный. У нас было включено отопление и закрыты окна, но, даже не слыша соседей, мы понимали, что радио орет по всему кварталу, и семьи, ни в коем случае не ставшие бы в иных обстоятельствах слушать трансляцию митинга в поддержку Линдберга, дожидались объявленного заранее выступления рабби Бенгельсдорфа. Кое-кто из его прихожан, обладающих определенным влиянием, уже потребовал его добровольной, а если рабби заупрямится, то и принудительной отставки, однако большинство продолжало поддерживать его, веря, что их духовный наставник всего-навсего реализует личное право на свободу слова, и, хотя публичное объяснение раввина в любви к Линдбергу ужаснуло их, они чувствовали себя не вправе затыкать ему рот, на протяжении долгих десятилетий столь медоточивый.

Этим вечером рабби Бенгельсдорф раскрыл глаза Америке на то, что, по его мнению, было подлинной причиной регулярных визитов Линдберга в Германию в тридцатые годы. Вопреки наветам, распространяемым его противниками, – сообщил раввин, – Линдберг бывал в Германии не как сочувствующий и тем более не как прямой приверженец Гитлера, но, напротив, как тайный советник администрации США. Бесконечно далекий от того, чтобы предать Америку, что бы ни утверждали злобные клеветники, полковник Линдберг, действуя практически в одиночку, крепил боевую мощь ВС США, делясь с ними почерпнутыми в Германии впечатлениями и делая все, что было в его силах, чтобы развить американскую авиацию и противовоздушную оборону...

– Господи, – вырвалось у моего отца. – Да ведь всем известно...

– Тсс, – зашипел Элвин. – Пусть великий оратор выскажется.

«Да, конечно, в 1936 году, задолго до обострения взаимоотношений между европейскими странами, нацисты наградили полковника Линдберга орденом, и – еще раз да – полковник принял эту награду, – продолжил меж тем Бенгельсдорф. – Но при всем при том, мои дорогие друзья, он всего лишь воспользовался их невольным восхищением для того, чтобы сбереечь и защитить нашу демократию методом сохранения нейтралитета – вооруженного нейтралитета!»

– Не могу поверить... – начал было отец.

– Попытайся, – сердито буркнул Элвин.

«Это не американская война, – торжественно провозгласил Бенгельсдорф, и толпа на Мэдисон-сквер-гарден ответила ему растянувшейся на целую минуту овацией. – Это европейская война! – И вновь грянули продолжительные аплодисменты. – Это всего лишь эпизод в тысячелетней европейской войне, не утихающей со времен Карла Великого. И это уже вторая европейская война с катастрофическими последствиями за менее чем полвека. А разве можно забыть о трагической цене, которую заплатила Америка за участие в предыдущей европейской войне? Сорок тысяч американцев пали на поле брани. Сто девяносто две тысячи были ранены. Семьдесят шесть тысяч наших сограждан умерли от эпидемий. Триста пятьдесят тысяч американцев стали нетрудоспособными инвалидами. А о каких астрономических числах речь пойдет

на этот раз? Наши потери, подскажите мне, президент Рузвельт, – они всего-навсего удвоятся или все-таки утроятся, а может быть, даже учетверятся? Объясните мне, президент Рузвельт, что за Америку мы обрящем, послав на массовое заклатие наших невинных мальчиков?.. Разумеется, проводимые нацистами преследования и расправы над немецкими евреями вызывают у меня, как у любого другого еврея, глубокое возмущение. Изучая на протяжении долгих лет богословие в великих немецких университетах – в Гейдельберге и в Бонне, – я свел близкое знакомство с многими выдающимися людьми и замечательными учеными, которые сейчас – только из-за того, что они являются немцами еврейского происхождения, – просто-напросто вышвырнуты с кафедр и подвергаются безжалостной травле со стороны нацистских ублюдков, захвативших безраздельную власть в их родной стране. Всеми фибрами души я протестую против этого, и вместе со мной протестует полковник Линдберг. Но чем поможем мы этим несчастным, терпящим такие лишения у себя на родине, если наша великая страна ввяжется в войну с их мучителями? Если что-то для них и изменится, то только в худшую сторону, – причем, увы, скорее всего, в трагически худшую. Да, я еврей, и как еврей я принимаю их страдания близко к сердцу – по-родственному близко. Но я, друзья мои, американский гражданин... – Новые аплодисменты. – ...я родился и вырос американцем, и как американец я спрашиваю: чем уменьшит мою скорбь вступление США в войну, в результате и вследствие которого, наряду с мальчиками из протестантских семей и мальчиками из католических семей, в бой – а значит, и на смерть – пойдут мальчики из еврейских семей – и усеют десятками тысяч трупов и без того напоенное кровью европейское поле брани? Чем уменьшит мою скорбь необходимость утешать уже и собственных прихожан в их неизбежном горе...»

И тут моя мать, вообще-то самая кроткая из нас и привыкшая всех, кто разволновался, успокаивать, внезапно сочла южный выговор Бенгельсдорфа настолько невыносимым, что, не произнеся ни слова, выбежала из комнаты. Но пока раввин не закончил свою речь и не снискал новую овацию на Мэдисон-сквер-гарден, больше никто из нас не покинул помещения, причем прослушали мы всё молча. Я бы и не осмелился, а мой брат по своему обыкновению сосредоточился на карандашных набросках с натуры – на сей раз, как мы все сидим, слушая радио. Молчание Элвина было убийственно тяжело, а отец – может быть, впервые в жизни человека никогда не унывающего из принципа, – был слишком смущен и растерян, чтобы сказать хоть что-нибудь.

Беснование. Достигшее апогея. Слово предоставляется самому Линдбергу. И, словно бы внезапно превратившись в полупаралитика, отец с трудом протягивает руку к приемнику и выключает радио как раз в тот миг, когда мать, преодолев себя, возвращается в гостиную.

– Кто-нибудь чего-нибудь хочет? – спрашивает она, и в глазах у нее стоят слезы. – Элвин, может быть, чаю?

Она удерживала наш мир, не давая ему распасться, удерживала спокойно и вместе с тем деликатно; это придавало ее существованию смысл и бытию – полноту, и, строго говоря, ей не нужно было ничего другого, – и все же никто из нас еще не видел ее – за всегдашними материнскими хлопотами – столь жалкой и в чем-то даже смешной.

– Что происходит? – взорвался отец. – Какого черта он это делает? Что за идиотство? Неужели он думает, будто найдется хоть один еврей, который, выслушав дурацкую речь, проголосует за этого антисемита? Он вообще знает, что делает?

– Кошерного Линдберга, – ответил Элвин. – Делает его кошерным для гоев.

– Кошерным, кого? – Мрачная острота Элвина взбесила отца или, по меньшей мере, показала ему неуместной. – Кого делает?

– Его притащили на трибуну не для того, чтобы он убедил евреев. Это им ни к чему. Неужели тебе не ясно? – Элвин и сам разозлился, преисполнившись решимости вскрыть подноготную происходящего. – Он обращается к гоям. Он дает гоям свое личное раввинское бла-

гословение в день выборов проголосовать за Линди. Неужели ты не понимаешь, дядя Герман, зачем им понадобился Бенгельсдорф. Он только что обеспечил поражение Рузвельта!

Той ночью, около двух часов, я опять во сне свалился с кровати, но на этот раз запомнил, что снилось мне перед тем, как я очутился на полу. Это был кошмар, вертящийся вокруг моей коллекции марок. Что-то с нею стряслось. Рисунок двух серий изменился самым чудовищным образом, причем я не понимал, когда это произошло и почему. Во сне я снял альбом с полки и отправился с ним домой к своему другу Эрлу, что и наяву случалось чуть ли не каждый день. Эрлу Аксману было десять лет, он учился в пятом классе и жил вдвоем с матерью в четырехэтажном многоквартирном кирпичном доме, построенном всего три года назад на большом пустыре неподалеку от скрещения Ченселлор и Саммит, наискосок от начальной школы. Перед тем как переехать сюда, он жил в Нью-Йорке. Его отец был саксофонистом и играл в оркестре «Каса Лома» у Глена Грея. Си Аксман играл на теноре, а Глен Грей – на альте. Родители Эрла были разведены. Его мать, похожая на артистку ослепительная блондинка, и впрямь какое-то недолгое время – перед тем как Эрл появился на свет, – пела с тем же оркестром и, как утверждали мои родители, была родом из Ньюарка – натуральная брюнетка, евреечка по имени Луиза Свиг, отправившаяся завоевывать Саут-сайд и стяжавшая небольшую славу, выступая на вечерах УМНА<sup>2</sup>. Из всех мальчиков, кого я знал, только у Эрла родители были в разводе, и только его мать сильно красилась, носила открытые блузки и пышные гофрированные юбки. Еще с оркестром Грея она записала песню «Будь такой или сякой» – и Эрл часто наигрывал мне эту мелодию. Матерей, похожих на нее, я просто-напросто не встречал. Эрл никогда не называл ее мамой или мамочкой, а совершенно непристойно – Луизой. У нее в спальне был полный комод нижнего белья, и когда мы с Эрлом оставались у него дома одни, он мне все показывал. Даже подбивал потрогать, видя мою нерешительность, «все, что хочется». Это были нижние юбки, но из другого ящика он извлек и лифчики и протянул их мне пощупать, но я отказался. Я был еще настолько мал, что мог восхищаться лифчиками на расстоянии. Отец с матерью каждую неделю давали Эрлу доллар на марки, а когда оркестр «Каса Лома» отправлялся на гастроли, мистер Аксман слал сыну письма с гашеными авиамарками буквально отовсюду. Одна из них была даже из Гонолулу, где мистера Аксмана, как утверждал Эрл, который был не прочь прихвастнуть подвигами постоянно находящегося в отсутствии отца (как будто сама по себе судьба сына страхового агента, ставшего саксофонистом в знаменитом оркестре и взявшего в жены крашеную блондинку-певицу, была для этого недостаточным поводом), пригласили в частный дом полюбоваться так и не пущенной в обращение «миссионерской» гавайской маркой 1851 года достоинством в два цента, которая была отпечатана за сорок семь лет до того, как Соединенные Штаты аннексировали Гавайи, и являлась баснословным сокровищем – сто тысяч долларов! – хотя внешне и не представляла собой ничего особенного: незамысловатое изображение цифры 2 – и не более того.

У Эрла была лучшая коллекция марок в округе. Все практические навыки и определенные эзотерические познания о марках, приобретенные мною в детские годы, почерпнуты у него: сведения по истории, коллекционирование вышедших из употребления матриц, чисто технические вопросы бумаги, печати, цвета, клея, гашения и спецгашения, искусство фальсификации, нечаянные изъяны. Причем Эрл, будучи по натуре педантом, начал мое обучение с рассказа о французском филателисте мсье Эрпене, который придумал и ввел в обиход сам термин «филателия», образовав его из двух древнегреческих слов, второе из которых – *ateleia* – означает освобождение от налогов, – тонкость, которой я так толком и не понял. Но каждый раз, когда мы, сидя у него на кухне, заканчивали возиться с марками, он тут же отбрасывал

---

<sup>2</sup> Ассоциация молодых иудеев.

напускную важность и, захихикав, предлагал: «А теперь давай устроим что-нибудь гадкое!» Именно под предлогом этих «гадостей» меня и познакомили с нижним бельем его матери.

Во сне я отправился к Эрлу, прижимая альбом к груди, и тут кто-то выкрикнул мое имя и пустился за мной в погоню. Я свернул на дорожку, ведущую к гаражам, чтобы спрятаться и проверить, не выпали ли из альбома какие-нибудь марки, пока я бежал от преследователя, спотыкаясь и даже однажды выронив альбом, – причем как раз в том месте на тротуаре, где мы регулярно играли в «Объявление войны». Дойдя до серии «Джордж Вашингтон» 1932 года выпуска – двенадцать марок с номинацией по возрастающей от темно-коричневой марки за полцента до ярко-желтой за десять, – я просто обомлел. Неизменной осталась надпись вверху каждой марки (я уже знал, как называется шрифт, которым она была набрана) – «Почтовая служба США», напечатанная попеременно то в одну строчку, то в две. Не изменился и цвет марок: двуцентовая осталась красной, пятицентовая – синей, восьмицентовая – оливково-зеленой и так далее. Все марки остались прежних размеров, и рамки, каждый раз разные, в которые были вставлены портреты, были теми же самыми. Но вместо двенадцати разных портретов Джорджа Вашингтона, как это было в оригинальной версии, со всех двенадцати марок на меня смотрел один и тот же портрет – причем не Вашингтона, а Гитлера. Да и подпись на орденской ленточке под каждым портретом гласила вовсе не «Джордж Вашингтон». Одни ленточки загибались концами книзу – как на полуцентовой марке и на шестицентовой, другие – кверху, как на четырех-, пяти-, семи- и десятицентовой, третьи представляли собой прямую линию: центовая, полторацентовая, двух-, трех-, восьми- и девятицентовая, – но на каждой из них было написано «Гитлер».

Но когда я взглянул на первую страницу альбома, где у меня была серия из десяти марок 1934 года «Национальные парки», чтобы посмотреть, не случилось ли что-нибудь и там, я закричал, свалился с кровати на пол и проснулся. «Йосемити» в Калифорнии, «Гранд-каньон» в Аризоне, «Меса-Верде» в Колорадо, «Крейтер-Лейк» в Орегоне, «Акадия» в Мэне, «Маунт-Рейнир» в Вашингтоне, Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге, «Зайон» в Юте, «Глейшер» в Монтане, «Грейт-Смоки-Маунтинс» в Теннесси – и на каждой марке прямо поверх гор, лесов, рек, горных пиков, гейзеров, кратеров, скалистых берегов, темно-синих вод и пенистых водопадов, поверх всего, что считалось в Америке самым синим, самым зеленым, самым белым, а потому нуждалось в неусыпной защите, теперь была напечатана черная свастика.

## 2. Еврейский болтун

*Ноябрь 1940 – июнь 1941*

В июне 1941 года, ровно через шесть месяцев после инаугурации Линдберга, мы всем семейством отправились за три сотни миль в Вашингтон, округ Колумбия, – посетить исторические места и знаменитые административные здания. Моя мать два года копила на эту поездку по доллару в неделю на так называемом «рождественском» счете в сберегательном банке Хауарда, выкраивая деньги из семейного бюджета. Путешествие было задумано еще в тот период, когда в Белом доме досиживал второй срок ФДР и демократы контролировали обе палаты парламента; теперь же, когда к власти пришли республиканцы, а вновь избранный президент казался нам врагом и изменником, перед поездкой вспыхнул небольшой семейный спор на тему о том, не изменить ли ее маршрут и не отправиться ли, например, на север – полюбоваться Ниагарскими водопадами, поплавать на лодочке по протокам вокруг Тысячи островов в устье реки Св. Лаврентия, а потом поехать на машине в Канаду и побывать в Оттаве. Кое-кто из наших друзей и соседей уже поговаривал о том, чтобы перебраться в Канаду в том случае, если политика администрации Линдберга станет откровенно антисемитской, и таким образом поездка в Канаду приобрела бы характер рекогносцировки на месте, которое может впоследствии оказаться спасительной гаванью. Еще в феврале мой двоюродный брат Элвин уехал в Канаду, намереваясь поступить на службу в тамошнюю армию, и значит, говоря его собственными словами, вступить на стороне англичан в схватку с Гитлером.

До своего отъезда Элвин на протяжении семи лет жил как бы под опекой моих родителей. Его покойный отец приходился моему самым старшим из братьев, и умер он, когда сыну было всего шесть, а мать Элвина – троюродная сестра моей матери и к тому же женщина, познакомившая моих родителей друг с другом, – умерла, когда ему было тринадцать, так что четыре года он просто-напросто прожил у нас, учась в «Виквахик хай-скул», – смысленный мальчик, играющий в азартные игры и крадущий все, что плохо лежит, которого моему отцу предстояло наставить на путь истинный. В 1940 году Элвину уже исполнился двадцать один год, он жил в меблированных комнатах на втором этаже над магазином на Райт-стрит, торгующим гуталином и кремом для обуви, – прямо за углом от продуктового рынка, – и уже почти два года работал в «Штейнгейм и сыновья» – то есть в одной из двух самых крупных строительных фирм города из числа тех, что принадлежали евреям (во второй такой фирме хозяйничали братья Рахлины). Работу Элвину дал Штейнгейм-старший – учредитель и основатель, страхованием бизнеса которого на регулярной основе занимался мой отец.

Старик Штейнгейм, говоривший по-английски с сильным акцентом и не умевший на этом языке читать, но отлитый, как говорил мой отец, «из чистой стали», до сих пор по субботам отправлялся в местную синагогу. Несколько лет назад, на Йом Кипур, увидев около синагоги моего отца с Элвином, он, ошибочно приняв моего двоюродного брата за родного, воскликнул: «А чем это вы занимаетесь, молодой человек? Если ничем, то идите работать к нам!» И Эйб Штейнгейм, один из «сыновей», превративший маленькую строительную фирму своего отца-иммигранта в крупную компанию с многомиллионным оборотом (правда, не без жестокой междоусобной войны, по итогам которой два его брата оказались вышвырнуты на улицу), с симпатией отнесся к крепкому и широкоплечему Элвину, из которого так и перла самоуверенность, и вместо того чтобы отправить его делопроизводителем или письмоводителем в контору, сделал своим личным шофером и порученцем: Элвин то передавал на места приказы и распоряжения Эйба, то возил его самого с одной стройки на другую проверять суб-

подрядчиков, которых он именовал не иначе как жуликами, хотя, по рассказам Элвина, главным жуликом был сам Эйб, умеющий обмануть каждого и извлечь выгоду из любой ситуации.

Летом каждую субботу Элвин возил своего шефа во Фрихолд, где у Эйба было полдюжины рысаков, которых он называл «гамбургерами». «Сегодня наш гамбургер бежит во Фрихолде», – говорил он, и они отправлялись на бега, причем лошади Эйба обязательно приходили последними. Они никогда не выигрывали, а ему и не надо было призов. Его лошади по субботам выходили на беговую дорожку в Виквахик-парк, чтобы он мог с позиций «Роуд хорс ассошиейшн» рассуждать в своих интервью о необходимости возрождения традиций некогда славного ипподрома «Маунт-холл», и таким образом ему удалось стать комиссаром испытаний рысистых лошадей штата Нью-Джерси, ездить со значком, с сиреной и парковаться где угодно. Через это же он закорешился с окружным начальством и сделался известным всем любителям бегов на побережье, уол-тауншипские и спринг-лейкские гои открывали перед ним двери своих элитных клубов, где, как Эйб рассказывал Элвину: «Не были ни одного, кто бы удержался от того, чтобы шепнуть приятелю: “Вы только полюбуйтесь на этого”, однако выпить и закусить за мой счет никто не побрезговал», а у него еще на причале Шарк-ривер был катер для морской рыбалки, с матросами, которые вам рыбу поймают и разделают, и он, видно, знал, кого приглашать на рыбалку, потому что если кому-нибудь приходило в голову поставить новый отель на берегу между Лонг-Бранчем и Пойнт-Плезантом, то мигом выяснялось, что этот участок уже купил Эйб Штейнгейм, причем по дешевке. Словом, Эйб был так же умен, как его папаша, всегда полагавший, что покупать надо за гроши, а продавать втридорога.

Раз в три дня Элвин возил своего шефа за четыре квартала на Брод-стрит, 744, в парикмахерскую и табачный магазин, где Эйб покупал себе сигары по полтора доллара за штуку и презервативы. В этом здании, кстати, одном из двух самых высоких в Нью-Джерси, на верхних двадцати этажах размещался Ньюаркский и Эссекский национальный банк, а ниже – конторы престижных адвокатов и финансистов, словом, все самые серьезные и богатые джентльмены штата были клиентами этой парикмахерской, и в обязанности Элвина входило заранее предупредить парикмахера о времени визита Эйба, чтобы тот был готов принять его без очереди. И в тот день, когда Эйб Штейнгейм пригласил на работу Элвина, за ужином отец сказал нам, что Эйб ярчайшая личность, прекрасный организатор и величайший строитель, который когда-либо был в Ньюарке.

– Он истинный гений, – заявил отец. – Только гений может добиться таких успехов. И красавчик какой. Блондин. Плотный, но не жирный. Одевается исключительно: верблюжье пальто, лаковые туфли, прекрасные сорочки, – все стильно. Выглядит превосходно. И прекрасная жена – ухоженная, образованная, урожденная Фрейлих, из тех, из нью-йоркских Фрейлихов, – с большими деньгами. Вот везет некоторым! Но у него хватка. Весь город знает, что самые немыслимые проекты – это для Штейнгейма. Он построит то, что никому не удастся. А Элвин у него будет учиться. Глядя на Эйба, он поймет, к чему надо стремиться в жизни.

Два раза в неделю отец с матерью приглашали Элвина к нам на ужин, скорей всего для того, чтобы, с одной стороны, он оставался под присмотром, с другой – чтобы не помер на одних сосисках. К счастью, Элвин не сидел за обедом с постной миной, выслушивая бесконечные поучения о том, что надо быть честным и работать не покладая рук, как было, когда он жил у нас и его уличили в воровстве на заправке, где он работал после школы, и отцу пришлось выложить денежки, чтобы отмазать Элвина от колонии для малолетних. Вместо этого они теперь спорили о политике, о капитализме, который Элвин, после того как отец приучил его читать газеты и слушать новости, всячески критиковал, а отец защищал, но не как член Национальной ассоциации промышленников, а как сторонник «Нового курса» президента Рузвельта.

– Только не ляпни при мистере Штейнгейме про Карла Маркса, – предупреждал отец, – иначе окажешься на улице. А ты для чего там работаешь? Чтобы у него учиться. Так вот, учись и относись с уважением, потому что с ним сделаешь карьеру.

Но Элвин терпеть не мог своего шефа и называл его не иначе как жуликом, скотиной, жмотом, сутягой, мерзавцем, вруном. Говорил, что у него нет друзей, потому что все от него разбегаются, и машина ему нужна, чтобы гоняться за ними по всему городу. Что с сыновьями он жесток, что ему неинтересны ни внук, ни тощая жена, которая, кстати, боится ему даже слово сказать, – если он не в духе, так ему человека унижить – раз плюнуть. Все они имеют квартиры в шикарном доме, который он выстроил себе под сенью дубов и тополей возле Упсальского колледжа в Ист-Ориндж. Сыновья работают на него, и он весь день орет на них в конторе, а вечером приезжает домой, садится на телефон и продолжает орать на них уже из дома. Главное для него – деньги, но не затем, чтобы тратить на всякую ерунду, а чтобы остаться на плаву при любом шторме: сохранить положение, не потерять сбережения и скупать по дешевке все, что подвернется, как во времена депрессии, когда он хорошо погрел руки. Деньги – чтобы делать деньги, чтобы сделать все деньги.

– Кое-кто удаляется от дел в сорок пять лет, заработав пять миллионов баксов. Пять миллионов в банке – это, считай, миллион годовых. И знаете, как реагирует на это Эйб? – Элвин обращается к моему двенадцатилетнему брату и ко мне. Ужин закончился, и он пришел в нашу комнату. Скинув обувь, мы валяемся на постели поверх одеял – Сэнди на собственной, Элвин – на моей, а я – пристроившись между его сильной рукой и широкой грудью. И лежать так – сущее блаженство: истории о жадности Штейнгейма, о его фанатическом рвении, о его витальности и экстравагантности, уравнивающих друг дружку, – и, рассказывая эти истории, мой кузен и сам витален и экстравагантен; сколько бы ни приглаживал его ершистую натуру мой отец, Элвин как был, так и остается хулиганом и сумасбродом, и ему приходится – в двадцать один-то год – дважды в день сбирать со щек черную щетину, чтобы не походить как две капли воды на закоренелого преступника. Он рассказывает словно бы не о живых людях, а о хищных потомках гигантских обезьян, слезших с дерева и вышедших из чащи первозданного леса, чтобы, накинувшись на Ньюарк, заняться в этом городе бизнесом.

– Как реагирует на это мистер Штейнгейм? – интересуется Сэнди.

– Он говорит: «У мужика пять миллионов. Не больше и не меньше. А он в самом соку, и у него есть шанс заработать когда-нибудь пятьдесят, шестьдесят, а то и все сто миллионов. А он мне говорит: “Я вынимаю деньги из игры, Эйб. Я не такой, как ты. Я не намерен вкалывать до инфаркта. Я решил, что мне этого хватит и остаток своих дней я проведу, играя в гольф”». А что говорит про это Эйб? «Не человек, а кусок говна!» Каждому субподрядчику, который приходит в пятницу в офис, чтобы с ним рассчитались за бревна, стекло и кирпич, Эйб внушает: «Послушай-ка, мы сидим без денег – и это все, что я могу для тебя сделать», и платит ему половину, платит треть, платит, если почувствует в человеке слабость, только четверть, – а ведь деньги этим людям нужны на жизнь; но так вел себя старый Штейнгейм, и так ведет себя его сын. Строит столько домов, сколько может осилить, – и никто хотя бы разок не попытался его прикончить!

– А кому-нибудь хочется его прикончить? – спрашивает Сэнди.

– Да, – отвечает Элвин. – Мне!

– Расскажи нам про годовщину свадьбы, – подсказываю я.

– Годовщина свадьбы, – повторяет Элвин. – Да, он спел пятьдесят песен, наняв пианиста. – Эту историю Элвин рассказывает слово в слово каждый раз, когда я прошу его об этом. – Он поет, и никто не может вставить ни слова, никто даже не понимает, что происходит, гости весь вечер едят и пьют за его счет, а он стоит в смокинге у рояля и поет одну песню за другой, и когда гости собираются разойтись по домам, он по-прежнему у рояля, по-прежнему поет весь репертуар, который известен каждому; люди с ним прощаются, а он их не слушает, он продолжает петь.

– А он на тебя орет? – спрашиваю я у Элвина.

– На меня? Да он на всех орет! Куда ни приедет, тут же принимается орать. По воскресеньям с утра я вожу его к Табачнику. А там уже стоит очередь – человек на шестьсот. И он орет: «Пришел Эйб!» – и люди расступаются и пропускают его вперед. Сам Табачник мчится сломя голову из подсобки к прилавку, всех разгоняя по сторонам, потому что Эйб покупает провизии, наверное, на пять тысяч долларов, и мы едем к нему домой, а там миссис Штейнгейм, худышка, всего девяносто два фунта весом, но ей ведомо: не буди лихо, пока оно тихо, – и Эйб звонит сыновьям, всем троим, и ровно через пять секунд они уже тут как тут, – и вот четыре Штейнгейма накидываются на пищу и съедают столько, что хватило бы накормить и четырехста человек. Единственное, на чем он не экономит, это еда. Еда и сигары. Напомни ему про какую-нибудь продовольственную лавку – хоть того же Табачника, хоть Карцмана, – и он отправится туда, растолкает посетителей и купит весь магазин. И они у себя по воскресеньям уплетают все подчистую, до последнего кусочка, – и осетрину, и говядину, и рогастики, и пикули, – а потом я везу его в офис, и он проверяет по записям, сколько квартир свободно, сколько снято, а сколько продано. И так семь дней в неделю. Без остановки. Без выходных. Без отпуска. Ничего не откладывай на завтра! – таков его девиз. Он просто сходит с ума, если узнает, что кто-нибудь потерял хоть минуту драгоценного рабочего времени. И не ложится спать, не установив наперед, что завтрашний день принесет ему еще больше сделок, а значит, еще больше денег, – и от всего этого меня просто тошнит. Для меня этот человек – не более чем ходячая антиреклама капитализма.

Мой отец называл жалобы Элвина ребячеством и советовал ему помалкивать на работе об этом – особенно после того, как Эйб решил, что пошлет Элвина в Ратгерский университет. «Ты слишком умен, чтобы оставаться идиотом», – сказал Эйб Элвину, а потом произошло нечто такое, на что мой, пусть и настроенный неизменно оптимистически, отец не мог даже надеяться. Эйб позвонил председателю попечительского совета университета и принялся орать на него: «Вы возьмете этого мальчика, где он закончит среднюю школу – неважно, это вообще не обсуждается, парень сирота и в перспективе гений, но вы еще и дадите ему полное обеспечение, а я за это выстрою вам новое здание, самое красивое в мире, – но, поверьте, я вам и общественного нужника не построю, если парень не попадет в университет на полном обеспечении!» А самому Элвину он сказал так: «Мне никогда не нравилось ездить с обычным шофером, который работает водилой, потому что он идиот. Мне нравятся парни вроде тебя, чтобы у них и в голове что-то было. Ты будешь учиться в Ратгерсе и приезжать сюда на лето, и по-прежнему работать у меня шофером, а когда ты закончишь, мы сядем и потолкуем, что делать дальше».

Эйб решил, что в сентябре 1941 года Элвин отправляется в Нью-Брансуик и, проучившись четыре года в университете, возвращается в Ньюарк на какую-нибудь серьезную должность в компании, но вместо этого Элвин уже в феврале убыл в Канаду. Мой отец пришел в ярость. Перед отъездом Элвина они, ничего не говоря остальным, поспорили об этом несколько недель, и в конце концов Элвин, опять-таки даже не попрощавшись с нами, сел на прямой поезд Ньюарк – Монреаль.

– Я не понимаю твою мораль, дядя Герман. Ты не хотел, чтобы я стал вором, но отправил меня работать на вора.

– Штейнгейм не вор. Штейнгейм строитель. Он не делает ничего такого, что не делали бы другие строители, – сказал Элвину мой отец. – Просто само по себе строительство – это разбойный бизнес. Но его дома не падают, не так ли? И он не нарушает закон, не правда ли, Элвин?

– Нет, не нарушает. Он всего-навсего выжимает из трудящихся все соки. До капли. Я не знал, что твоя мораль одобряет это.

– Да плевал я на мораль, – ответил мой отец. – Весь город знает мою мораль. Но дело не во мне, а в тебе. Дело в твоём будущем. Речь идет об университетском образовании. О бесплатном четырехлетнем университетском образовании.

– О бесплатном, потому что он поставил раком ректора Ратгерса точно так же, как он ставит весь мир.

– Пусть об этом беспокоится ректор Ратгерса! Да что с тобой, парень? Ты что, всерьез хочешь убедить меня в том, будто нет на свете человека хуже, чем тот, что хочет дать тебе образование и предоставить место в собственной компании?

– Ну нет, худший человек на свете это, разумеется, Гитлер, и я уж лучше буду сражаться с этим сукиным сыном, чем тратить время на еврея вроде Штейнгейма, который позорит всю нашу нацию своим сраным...

– Послушай, не надо мне этих детских разговоров, да и без слова «сраный» я тоже обойдусь. Никого этот человек не позорит. Ты что же думаешь, было бы лучше, работай ты в строительной фирме у какого-нибудь ирландца? Валяй, пробуй, – поступи на службу к тому же Шенли, и ты увидишь, какой он милый. А что, итальянцы лучше, что ли? Штейнгейм чуть что – начинает орать, а итальянцы – стреляют.

– А что, Лонги Цвилман, по-твоему, не стреляет?

– Ради бога, я все знаю про Лонги Цвилмана, мы с ним с одной улицы. Но какое это имеет отношение к университету?

– Это имеет отношение ко мне, дядя Герман, я не хочу на всю жизнь становиться должником Штейнгейма. Или мало того, что он искалечил трех собственных сыновей? Мало того, что они обязаны проводить с отцом каждый еврейский праздник, и каждый День благодарения, и каждый Новый Год? И мне надо попасть в ту же сборную мазохистов под его началом? Все они работают в одной и той же конторе, живут в одном доме и мечтают тоже лишь об одном – дождаться его смерти и разделить имущество. Уверяю тебя, дядя Герман, горевать по нему они не будут!

– Ты ошибаешься. Ты крупно ошибаешься. Дело для них заключается не только в деньгах.

– Нет, это ты ошибаешься! Именно деньгами он их и держит. Он ведь совершенно сумасшедший, а они остаются при нем и терпят такое обращение исключительно из-за денег!

– Они остаются, потому что они его сыновья. Потому что члены семьи. В семьях всегда трудно. Жизнь в семье – это война и мир одновременно. Вот у нас с тобой прямо сейчас идет небольшая такая, чисто местная война. И я понимаю это. Я это принимаю. Но не вижу причины для тебя отказываться от университета, куда тебе так хотелось поступить, и прямо так, неотесанной дубиной, отправляться на войну с Гитлером.

– Ах вот как, – ответил Элвин, внезапно обратив гнев не только на работодателя, но и на старшего родственника и опекуна. – Значит, ты у нас изоляционист. Точно такой же, как Бенгельсдорф. Бенгельсдорф и Штейнгейм – они хорошая парочка!

– Парочка кого? – хмуро переспросил отец, чувствуя, что и сам теряет терпение.

– Еврейских жуликов!

– А-а! – сказал отец, – выходит, ты и против евреев?

– Против таких евреев! Против евреев, которые позорят евреев. Да, категорически против!

Спорили они четыре вечера подряд, а потом, на пятый, Элвин просто-напросто не пришел к нам ужинать, хотя идея заключалась в том, чтобы обрабатывать его ежевечерне, пока мальчик наконец не одумается, – тот самый мальчик, которого мой отец личными усилиями сумел превратить из отъявленного бездельника в гражданскую совесть всего семейства.

На следующее утро мы узнали от Билли Штейнгейма (который – единственный из сыновей Эйба – дружил с Элвином и оказался достаточно ответственным, чтобы первым делом

позвонить известить семью) следующее: накануне вечером, в пятницу, получив конверт с последней зарплатой, Элвин швырнул ключи от «кадиллака» в лицо Эйбу и пошел прочь; а когда мой отец, услышав такое, примчался на машине на Райт-стрит, чтобы у самого Элвина выяснить, в какой мере тот ухитрился испоганить собственное будущее, владелец лавки, в которой продаются средства ухода за обувью, сообщил ему, что его жилец уже рассчитался, собрал пожитки и выехал на войну с самым омерзительным чудовищем, которое когда либо появлялось на свет. Вот так взял и уехал – не больше, но и не меньше.

Ноябрьские выборы нельзя было назвать даже схваткой более или менее равных противников. Из общего числа избирателей Линдбергу достались пятьдесят семь процентов голосов, а по выборщикам он и вовсе победил в сорока шести штатах, уступив ФДР только в двух – в родном для Рузвельта Нью-Йорке и (всего двумя тысячами голосов) в Мэриленде, многочисленное федеральное чиновничество которого отдало подавляющее преимущество действующему президенту при одновременной поддержке его примерно половиной традиционно голосующих за демократов южан, – успех, которого ему не удалось повторить нигде ниже линии Мэйсона – Диксона. И хотя на следующее утро после выборов преобладающим настроением было изумление и неверие – особенно среди тех, кто сам не поленился сходить на избирательный участок, – еще один день спустя все вроде бы всё поняли, и радиокомментаторы об руку с газетными колумнистами сделали вид, будто поражение Рузвельта было предрешиено заранее. Главное с их стороны объяснение происшедшего сводилось к тому, что американцам не захотелось ломать традицию лимита в два президентских срока, введенного еще Джорджем Вашингтоном и не оспоренного за всю историю ни одним президентом, кроме Рузвельта. Более того, на выходе из Великой депрессии и стар и млад для поддержания уже наметившегося перелома к лучшему захотели увидеть в Белом доме сравнительно молодого и эффектно-спортивного Линдберга, а не обездвиженного в результате полиомиелита ФДР. И, конечно же, чудо воздухоплавания плюс новый образ жизни, который оно сулило: Линдберг, уже прославившийся как рекордсмен по беспосадочным перелетам, сможет со знанием дела увлечь за собой соотечественников в заоблачные дали, заверив их (и постоянно подкрепляя свои слова простым и открытым поведением в духе добрых старых времен) в том, что достижения современной науки и техники не отменят и не испортят добродетелей, чтимых встарь. Выяснилось, – к такому выводу пришли политаналитики, – что американцы двадцатого века, устав от необходимости преодолевать кризис каждые новые десять лет, истосковались по норме, тогда как Чарльз Э. Линдберг как раз и олицетворял норму, только увеличенную до героических масштабов, – порядочный человек с честным лицом и невыразительным голосом, который только что продемонстрировал всей планете решимость взять в руки бразды истории в столь судьбоносный час и, разумеется, доказал личное мужество, преодолев трагическую утрату единственного на тот момент ребенка. И если Линдберг пообещал, что войны не будет, значит, ее не будет, – подавляющему большинству все было просто и ясно.

Еще более тяжкими, чем сами выборы, стали для нас недели после инаугурации, когда новый президент США отправился в Исландию на личную встречу с Адольфом Гитлером и после двух дней «задушевных переговоров» подписал мирное соглашение между Германией и Америкой. Примерно по дюжине городов США прокатились демонстрации протеста против Исландского коммюнике; страстные речи были произнесены в обеих палатах парламента сенаторами и конгрессменами от демократов, которым удалось сохранить свои мандаты под триумфальным натиском республиканцев и которые сейчас проклинали Линдберга за сделку с фашистским извергом и убийцей, за переговоры с ним на равных и даже за само место встречи – северный остров, исторически связанный с демократической монархией, которую нацистские полчища уже смяли, что обернулось национальной трагедией для всей Дании – и для короля, и для его подданных, – и эту-то трагедию своим бестактным визитом в Рейкьявик Линдберг не только проигнорировал, но и усугубил.

Когда президент вернулся из Исландии в Вашингтон – за штурвалом нового двухмоторного истребителя «Локхид» и в сопровождении десяти тяжелых самолетов ВМС, – его обращение к нации оказалось чрезвычайно коротким и состояло всего из пяти предложений. Отныне гарантировано неучастие нашей великой страны в европейской войне, – так эта историческая речь начиналась. А так продолжалась, нарастала и, достигнув апогея, заканчивалась: «Мы не ввяжемся в чужую войну ни в одной точке на поверхности земного шара. Вместе с тем мы продолжим наращивать выпуск вооружений и будем обучать нашу служащую в армии молодежь умению обращаться с самым современным оружием. Ключ к нашей неуязвимости – во всемерном развитии американской авиации, включая ракетостроение. Таким образом мы превратим наши океанические границы в непреступные стены и вместе с тем сохраним строгий нейтралитет».

Десять дней спустя президент подписал еще одно соглашение, на этот раз гавайское, с премьер-министром Японии принцем Фумимаро Коноэ и министром иностранных дел Мацуокой. Будучи эмиссарами императора Хирохито, двое министров уже подписали в сентябре 1940 года в Берлине соглашение о тройственной унии с немцами и итальянцами: японцы согласились тем самым на «Новый порядок» в Европе, возглавляемой Германией и Италией, тогда как немцы, в свою очередь, – на «Новый порядок» в Восточной и Юго-Восточной Азии под властью японцев. Далее, три державы обязались оказывать друг другу военную помощь в случае нападения на них какой-нибудь страны, не участвующей ни в европейской, ни в китайско-японской войне. Гавайское коммюнике, подобно Исландскому, превратило США чуть ли не в прямого участника тройственного союза стран Оси, поскольку оно подразумевало с американской стороны признание за Японией права на дальнейшую экспансию в указанных направлениях, включая как континентальную агрессию по отношению к Китаю и сопредельным странам, так и захват принадлежащей Нидерландам Индонезии и остающегося французской колонией Индокитая. В ответ Япония обязалась уважать суверенитет США на всем североамериканском континенте, политическую независимость подмандатных США Филиппин (с истечением мандата в 1946 году) и согласиться с тем, что тихоокеанские Гавайи, Гуам и Мидуэй навсегда останутся во владении США.

После подписания обоих соглашений американцы повсеместно возликовали: войны не будет! Никогда больше не придется нашей молодежи сражаться и умирать! Линдберг умеет разговаривать с Гитлером, утверждали все вокруг, Гитлер относится к нему с почтением, потому что он Линдберг! Муссолини и Хирохито относятся к нему с почтением, потому что он Линдберг! Его, говорили кругом, не любят только евреи. И, разумеется, американские евреи его и впрямь не любили. У них теперь начались крупные неприятности. Взрослые люди в нашей округе уже принялись размышлять над тем, как оберечь своих детей от неминуемой беды, к кому можно и нужно обратиться за помощью и в какой степени мы сумеем постоять за себя сами. Дети и подростки вроде меня возвращались домой из школы напуганными, обиженными и часто в слезах, потому что до нас доносились разговоры старшеклассников о том, что Линдберг сказал про евреев Гитлеру и Гитлер – Линдбергу в ходе совместных трапез на встрече в Рейкьявике. Одной из причин, по которым мои родители решили все же предпринять давным-давно задуманную поездку в Вашингтон, стало желание продемонстрировать Сэнди и мне тот факт (уж не знаю, в какой мере очевидный для них самих), что ничто на самом деле не изменилось. Вернее, изменилось только одно: ФДР больше не был президентом страны. Однако Америка не стала фашистской и не собирается становиться таковой, что бы там ни предрекал наш кузен Элвин. Конечно, у нас новый президент и новый Конгресс, но и тот, и другой обязаны действовать в рамках закона и строго придерживаться Конституции. Да, они республиканцы; да, они изоляционисты; и, да, среди них немало антисемитов (как, впрочем, и среди южан из Демократической партии), – но до нацистов им в любом случае далеко. Кроме того, достаточно послушать воскресным вечером Уинчелла, высмеивающего

нового президента и его закадычного друга Джо Геббельса или перечисляющего точки на карте, якобы рассматриваемые министерством внутренних дел в качестве удобного места для будущих концлагерей, – точки главным образом в штате Монтана, из которого происходил верный приверженец курса Линдберга на национальное единение – избранный в вице-президенты представитель изоляционистского крыла Демократической партии Бартон К. Уилер, – чтобы убедиться в том, что критика новой администрации со стороны любимых журналистов моего отца – того же Уинчелла, Дороти Томпсон, Квентина Рейнольдса, Уильяма Л. Ширера и, разумеется, всего коллектива «Пи-эм» ничуть не ослабевает. Даже я теперь заглядывал в «Пи-эм» по вечерам, после того как отец изучит газету от корки до корки, – и заглядывал, ища не только комиксы и фотографии, но для того, чтобы поддержать в руках вещественное доказательство того, что, вопреки невероятной стремительности, с какой ухудшается наш статус в Америке, мы по-прежнему живем в свободной стране.

После того как Линдберг принес присягу 20 января 1941 года, ФДР с семьей переехал в свое имение в Гайд-Парке, штат Нью-Йорк, – и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Поскольку считалось, что именно мальчиком в Гайд-Парке он впервые заинтересовался марками после того, как мать подарила ему свои собственные, времен детства, альбомы, мне почему-то казалось, что и сейчас он круглыми сутками разбирает марки, включая в коллекцию сотни раритетов, скопившихся у него за восемь лет пребывания в Белом доме. Каждому филателисту было известно, что ни один президент до Рузвельта не требовал у директора почтового ведомства столь частого выпуска новых марок, не говоря уж о том, что ни один президент до него не поддерживал с директором почтового ведомства столь близких отношений. Едва ли не первой задачей, которую я поставил перед собой, вступив на стезю филателии, стало приобретение всех марок, выпущенных по эскизам Рузвельта или по рисункам, сделанным другими художниками по предложенной им концепции, начиная с выпущенной в 1936 году трехцентовой марки в честь шестнадцатилетней годовщины поправки об избирательных правах женщин с портретом Сюзан Б. Энтони и с выпущенной в 1937 году пятицентовой марки с Вирджинией Дэр – в честь трехсотпятидесятилетия рождения в Роаноке у английских колонистов первого белого ребенка в Америке. Трехцентовая марка в честь Дня матери 1934 года, нарисованная самим ФДР: в левом углу надпись «В память и в честь матерей Америки», а справа и в центре – знаменитый «Портрет моей матери» работы Уистлера; ее, в составе серии из четырех марок, подарила мне собственная мать, с тем чтобы обновить коллекцию. Она также ссудила меня деньгами на покупку семи памятных марок, которые Рузвельт одобрил в первый год первого президентского срока и которые мне понадобились главным образом потому, что на пяти из них был выведен год – 1933, – являющийся и годом моего рождения.

Перед поездкой в Вашингтон я попросил разрешения взять с собой альбом. Опасаясь, что я исхитрюсь потерять его, а потом, разумеется, обречусь, мать поначалу категорически отказалась, – и в конце концов мы пришли к компромиссу: в дорогу отправятся мои марки с портретами президентов, от Джорджа Вашингтона до Калвина Кулиджа, выпущенные серией, общим числом шестнадцать, в 1938 году, причем чем «старше» был президент, тем большим номинальным достоинством обладала марка. Марки «Арлингтонское национальное кладбище» 1922 года выпуска, «Мемориал Линкольна» и «Здание Капитолия» 1923 года выпуска были мне не по карману – и, соответственно, и в коллекции, и в альбоме отсутствовали, однако на предназначенных для них местах в альбоме они были представлены черно-белыми репродукциями – и это послужило мне дополнительным доводом в пользу того, чтобы взять альбом с собой. На самом деле я просто боялся оставить его дома, в нашей пустой квартире, – боялся из-за своих кошмаров, вызванных то ли тем, что я так и не изъясил десятицентовую марку с Линдбергом из коллекции, то ли тем, что Сэнди солгал родителям – и его портреты Линдберга по-прежнему лежали у него под кроватью, то ли тем, что наша с братом кровать оказалась в некотором роде согласованной, – так или иначе, я боялся того, что в мое отсутствие коллекция пре-

терпит чудовищную метаморфозу: никем не охраняемые «Вашингтоны» превратятся в Гитлеров, а «Национальные заповедники» заштемпелюют свастиками.

Сразу же по прибытии в Вашингтон мы в потоке машин свернули не в ту сторону, и пока моя мать, сверяясь с дорожной картой, пыталась втолковать мужу, как добраться до гостиницы, перед нами предстала белая громадина совершенно невероятных размеров. В конце уходящей вверх улицы высился Капитолий: широкая мраморная лестница, ведущая к балюстраде с колоннами, и упирающийся в небо трехъярусный купол. Невзначай мы заехали в самую середку истории США – и (неважно, думали мы об этом в таких выражениях или нет) как раз история США в ее здешнем впечатляюще-вдохновенном архитектурном воплощении должна была, как мы надеялись, защитить нас от Линдберга.

– Смотрите! – мать обернулась к нам с Сэнди. – Правда, потрясающе?

Выглядело это и впрямь потрясающе, но Сэнди, судя по всему, просто отпал или, если угодно, впал в патриотический ступор, а я решил последовать его примеру, так что мы оба выразили восторг благоговейным молчанием. И как раз в этот миг возле нас притормозил мотоцикл полицейского патруля.

– Что там у вас, штат Джерси? – поинтересовался коп.

– Разыскиваем свою гостиницу, – ответил отец. – Напомни, Бесс, как она называется.

Моя мать, всего мгновение назад поддавшаяся гипнотически-величественному обаянию Капитолия, страшно побледнела, а когда начала говорить, то ее голос зазвучал так тихо, что в шуме дорожного движения слов было не разобрать.

– Я вам помогу! – заорал полицейский. – Погромче, пожалуйста, миссис.

– Гостиница «Дуглас»! – Мой брат взял инициативу на себя, буквально пожирая при этом глазами мотоцикл. – На Кей-стрит, офицер!

– Умница!

Полицейский, подняв руку, одним движением остановил следующие за нами машины и велел нам ехать за собой. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, мы помчались в противоположную сторону по Пенсильвания-авеню.

Рассмеявшись, отец сказал:

– Прямо-таки королевский прием!

– Но откуда тебе знать, куда он нас везет? – всполошилась мать. – И вообще, Герман, что происходит?

Следуя за полицейским, мы проезжали мимо одного административного здания за другим, – и вдруг Сэнди, разволновавшись, показал пальцем куда-то влево и вверх по склону холма с аккуратно подстриженной травой.

– Белый дом!

И тут моя мать почему-то разрыдалась.

– Все теперь не так, – попыталась она объяснить нам причину припадка, когда мы уже добрались до гостиницы и полицейский, помахав на прощание рукой, отъехал. – Все теперь не как в нормальной стране. Мне очень жаль, мальчики, простите меня, пожалуйста. – И тут она опять заплакала.

В маленьком номере «Дугласа» с двуспальной кроватью для родителей и двумя кушетками для нас с Сэнди мать пришла в себя – но не раньше, чем отец, дав на чай, выпроводил коридорного, отпершего нам дверь и внесшего в единственную комнату чемоданы. Пришла в себя – или притворилась, будто пришла в себя, – принявшись развешивать и раскладывать вещи по крючкам и полкам и с удовлетворением констатируя, что последние выстланы чистой бумагой.

Из Ньюарка мы выехали в четыре утра – и теперь, конечно же, легли отдохнуть, – и вновь выбрались на улицу, ища, где бы перекусить, лишь во втором часу дня. Машина наша была

припаркована через дорогу от «Дугласа», и возле нее уже вертелся какой-то востроносый коротышка в сером двубортном костюме. Сняв шляпу, он поспешил представиться:

– Друзья, меня зовут Тейлор. Я профессиональный гид по столице нашего государства. Если не хотите попусту тратить время, вам надо нанять кого-нибудь вроде меня. Я сам поведу машину, чтобы вы не заблудились, я покажу вам все достопримечательности, я расскажу вам обо всем, что тут нужно знать. Если вы отправитесь куда-нибудь на своих двоих, я подожду, а потом встречу вас на машине. Я подскажу вам, где тут кормят прилично и за приемлемую цену. А мои собственные услуги, раз автомобиль у вас свой, вам обойдутся всего в девять долларов в день. Вот моя лицензия. – Он достал какой-то многостраничный документ и помахал им перед носом у моего отца. – Выдана Торговой палатой. Верлин М. Тейлор, профессиональный гид по округу Колумбия с 5 января 1937 года, а точнее, с того самого дня, как начал работу Конгресс США семьдесят пятого созыва.

Тейлор с отцом обменялись рукопожатием, и, будучи тоже профессионалом, пусть и в страховом бизнесе, отец не преминул проглядеть лицензию, прежде чем вернуть ее гиду.

– Все это замечательно, – сказал он, – но не думаю, что девять баксов в день – это приемлемая цена. По меньшей мере, для нашей семьи.

– Я прекрасно вас понимаю. Но, сэр, будучи предоставлены самим себе, вы поедете не в ту сторону, потом проищете в центре города парковку и так далее... Да что там! Без меня вы и половины того не увидите, что увидели бы со мной, да и удовольствия получите вдвое меньше. Послушайте, вот прямо сейчас я отвезу вас на ланч, сам подожду в машине, а потом мы поедем к памятнику Джорджу Вашингтону. После этого – к Мемориалу Линкольна. Вашингтон и Линкольн – два величайших президента в нашей истории, с них я всегда и начинаю. Вам наверняка известно, что сам Вашингтон в Вашингтоне не жил. Выбрал это место, распорядился об учреждении государственной столицы именно здесь; но лишь его непосредственный преемник Джон Адамс оказался первым президентом, въехавшим в Белый дом, и произошло это в 1800 году. 1 ноября 1800 года, если уж быть точным. Его жена Абигайл перебралась сюда двумя неделями позже мужа. Среди многих далеко не всегда священных реликвий Белого дома там до сих пор хранится салатница, принадлежавшая чете Адамс.

– Что ж, этого факта я не знал, – ответил мой отец, – но мне надо обсудить ситуацию с женой.

– Ну что, Бесс, – вполголоса спросил он, – мы можем себе такое позволить? Парень, похоже, в своем деле дока.

– Да, но кто его подослал? – шепотом возразила мать. – Как он выследил нашу машину?

– Это его профессия, Бесс, – разыскивать туристов. Этим он зарабатывает себе на хлеб.

Мы с братом переминались с ноги на ногу, искренне надеясь на то, что мать наконец уймется, а отец наймет на весь срок этого говорливого востроносого человечка на коротких ножках.

– А вы что скажете? – обратился к нам отец.

– Ну, если это столько стоит... – начал было Сэнди.

– Забудьте о деньгах! Нравится вам этот парень или нет?

– Тот еще типчик, папа, – прошептал Сэнди. – Пальца ему в рот не клади. Но мне понравилось, как он сказал: «Если уж быть точным».

– Бесс, – сказал отец, – перед нами первоклассный гид по Вашингтону, округ Колумбия. Конечно, его не назовешь симпатягой, но парень он, судя по всему, шустрый, а с лица не воду пить. Посмотрим, как он отреагирует, если я предложу ему семь баксов.

Он отошел от нас, приблизился к гиду, пару минут они оба самым серьезным образом потолковали, а затем ударили по рукам, и отец издал крикнул нам: «Едем есть!» Как всегда, даже на отдыхе, он был заряжен энергией.

Трудно сказать, что представлялось мне самым невероятным: сам факт, что я впервые в жизни выбрался из штата Нью-Джерси; трехсотмильное путешествие в столицу страны; или то обстоятельство, что мы ехали в собственной машине, за рулем которой восседал посторонний человек, которого зовут, как двенадцатого президента США, профиль которого красовался на пурпурно-фиолетовой двенадцатицентовой марке (в альбоме, лежащем у меня прямо на коленях) между синим одиннадцатицентovým Полком и зеленым тринадцатицентovým Филлмором.

– Вашингтон, – начал меж тем свою экскурсию Тейлор, – поделен на четыре сектора: северо-запад, северо-восток, юго-восток и юго-запад. За немногими исключениями, улицы, идущие с севера на юг, носят номера, а улицы, идущие с востока на запад, имеют названия в виде той или иной буквы алфавита. Вашингтон – единственный во всем западном мире город, заложенный и построенный исключительно для того, чтобы стать государственной столицей. В этом его отличие не только от Лондона и Парижа, но и от наших собственных Нью-Йорка и Чикаго.

– Слышите? – Отец посмотрел через плечо на нас с братом. – Слышишь, Бесс, как точно формулирует мистер Тейлор уникальность Вашингтона?

– Слышу. – И она взяла мою руку в свою – словно бы затем, чтобы, приободрив меня, приободрить тем самым и себя: все, мол, у нас в порядке и будет в порядке. Но меня – с тех пор как мы прибыли в Вашингтон и до самого отъезда – заботило по-настоящему лишь одно: как бы чего не стряслось с моими марками.

Кафетерий, у входа в который высадил нас Тейлор, оказался чистеньким, а еда в нем, как он и обещал, – дешевой и вкусной, и стоило нам, закончив трапезу, выйти на улицу, прямо к парковке подкатила наша машина.

– Вот это пунктуальность! – воскликнул отец.

– С годами, – ответил на это Тейлор, – начинаешь определять с точностью до минуты, сколько времени понадобится на ланч тому или иному семейству. Все ведь было в порядке, миссис Рот? – спросил он у моей матери. – Вам все понравилось?

– Да, спасибо, все очень хорошо.

– Значит, мы готовы полюбоваться Мемориалом Джорджа Вашингтона, – констатировал Тейлор, и мы тронулись с места. – Вам ведь, разумеется, известно, кому поставлен этот памятник. Нашему первому – и, по общему мнению, нашему лучшему, наряду и наравне с Линкольном, президенту.

– Я бы, знаете ли, дополнил этот список именем Франклина Делано Рузвельта. Великий человек, а наши сограждане взяли и вышвырнули его из Белого дома, – ответил отец. – И на кого только мы его променяли!

Тейлор, внимательно выслушав, никак не прокомментировал отцовские слова.

– Конечно же, – продолжил он, – вы все видели Мемориал Джорджа Вашингтона на снимках. Но фотография бессильна передать его величие, хотя бы чисто пространственное. Высота обелиска пятьсот пятьдесят пять футов пять и восемь десятых дюйма; это самое высокое каменное сооружение во всем мире. Новый скоростной лифт поднимет вас на вершину за минуту с четвертью. А можно пойти и пешком по винтовой лестнице, насчитывающей восемьсот девяносто три ступени снизу доверху. С вершины памятника открывается панорама радиусом от пятнадцати до двадцати миль. Стоит полюбоваться... Ага, вот он, видите? Прямо перед нами. Приехали.

Пару минут спустя Тейлор нашел свободное место на стоянке у подножия монумента и, когда мы выбрались из машины, засеменял рядышком на коротких ножках, продолжая свои пояснения:

– Всего пару лет назад обелиск впервые за все время почистили. Вы только представьте себе, что скрывается за этим скромным «почистили», мистер Рот! Его драили железными щет-

ками, используя воду с песком. Это заняло пять месяцев и обошлось налогоплательщикам в сто тысяч долларов.

– При Рузвельте? – поинтересовался отец.

– Выходит, что так.

– А люди об этом узнали? – Отец сорвался на крик. – А люди это оценили? Куда там! Они предпочли ему какого-то летчика! И это, поверьте, еще не вечер.

Мы прошли внутрь сооружения, а Тейлор остался снаружи. Уже у лифта мать, вновь схватившая меня за руку, подошла к отцу вплотную и шепнула ему:

– Не надо так говорить.

– Как это «так»?

– О Линдберге.

– А в чем дело? Я говорю то, что думаю.

– Но ты не знаешь, что этот Тейлор за человек.

– Прекрасно знаю. Лицензированный гид с аутентичными документами. А это памятник Вашингтону, Бесс, – и ты призываешь меня держать язык за зубами, словно мы с тобой не в столице США, а в нацистском Берлине!

Эти несдержанные слова расстроили ее еще сильнее – тем более что их могли услышать и посторонние – те, кто дожидался лифта вместе с нами. Меж тем, обернувшись к другому папаше, пришедшему сюда с женой и двумя детьми, отец спросил у него: «Откуда вы? Мы-то сами из Джерси». – «Из Мэна», – ответил мужчина. «Поняли?» – спросил отец у нас с братом. Меж тем опустился лифт, зашедшие в него человек двадцать взрослых и детей заполнили примерно полкабины, и мы отправились вверх по железобетонной шахте, причем отец использовал минуту с четвертью, положенную на подъем, чтобы осведомиться, откуда они приехали, и у всех остальных.

Когда мы вновь вышли на свежий воздух, Тейлор уже поджидал у ворот. Он попросил нас с Сэнди описать панораму, представшую нашим взорам из окон на пятисотфутовой высоте, а затем повел нас на быструю пешую прогулку по внешнему периметру сооружения, одновременно рассказывая красочную историю его создания. Сделал несколько семейных снимков нашим собственным фотоаппаратом «Брауни»; затем мой отец, отмахнувшись от возражений Тейлора, сфотографировал его с нашей матерью и с нами на фоне памятника; в конце концов мы вернулись в машину, Тейлор вновь сел за руль, и мы поехали по бульвару Молл к Мемориалу Линкольна.

На этот раз, паркуя машину, Тейлор предупредил, что нас ждет подлинное потрясение, потому что Мемориал Линкольна не сравнить буквально ни с чем на свете. Затем препроводил нас со стоянки к величественному зданию с колоннами и беломраморными ступенями, провел по лестнице мимо колонн в глубь помещения – к статуе Линкольна, восседающего на неопикуемой красоты и роскоши троне. Лицо Линкольна показалось мне – да и могло ли быть по-другому? – ликом Господа и вместе с тем ликом самой Америки.

– И они застрелили его, эти грязные псы, – мрачно выдохнул мой отец.

Мы четверо стояли у самого основания памятника, освещенного таким образом, чтобы все в Аврааме Линкольне казалось грандиозно величественным. То, что обычно считалось великим, перед увиденным просто блекло, и равно взрослый и ребенок оказывались беззащитны перед торжественным духом гиперболы.

– А когда задумаешься над тем, как наша страна обошлась с величайшим из своих президентов...

– Герман, – взмолилась мать, – не начинай, пожалуйста.

– А я и не начинаю. Это была великая национальная трагедия. Не так ли, парни? Я имею в виду убийство Линкольна.

Тейлор, подойдя к нам, невозмутимо пояснил:

– Завтра мы с вами побываем в Театре Форда, где произошло покушение, а потом перейдем через дорогу к дому Питерсена, где он испустил дух.

– Я вот говорю, мистер Тейлор, как подло наша страна обращается с величайшими из своих президентов.

– Слава Богу, у нас теперь президент Линдберг, – эти слова прозвучали всего в нескольких футах от нас. Пожилая женщина с путеводителем в руке стояла в одиночестве и вроде бы не обращалась ни к кому конкретно. Но ясно было, что она расслышала реплику моего отца и прореагировала именно на нее.

– Равнять Линдберга с Линкольном? Ну и ну! – возмутился отец.

На самом деле пожилая женщина пришла на экскурсию не одна, а с целой группой туристов, один из которых – примерно в том же возрасте, что и мой отец, – вполне мог оказаться ее сыном.

– Что-то вам не по вкусу? – спросил он у отца, сделав недвусмысленный шаг в его сторону.

– Дело не во мне, – ответил отец.

– Что-то из того, что сказала эта дама, вам не по вкусу?

– Дело не во мне, – ответил отец. – Дело в свободной стране.

Незнакомец смерил отца долгим испытующим взглядом, затем столь же внимательно посмотрел на мою мать, на Сэнди, на меня. И что же предстало его взору? Стройный, мускулистый, плечистый мужчина пяти футов девяти дюймов росту, лицо которого без особых натяжек можно назвать красивым, – серо-зеленые с жемчужным отливом глаза, несколько уже поредевшие каштановые волосы, коротко подстриженные на висках и открывающие чужому взгляду оба уха, что выглядело чуточку смешно. Женщина – узкоплечая, но не хрупкая, хорошо одетая, с пышной копной темных выющихся волос, с круглыми и румяными щеками и с длинноватым носом; с красивыми руками и плечами, с длинными ногами и продолговатыми бедрами, с горящим взглядом девушки вдвое младше нее. Оба взрослых члена нашей семьи явно самолюбивы и столь же явно жизнелюбивы, а двое сыновей, конечно, еще сущие дети – маленькие дети молодой пары, – но здоровые, ухоженные и наверняка заряженные родительским оптимизмом.

И выводы, к которым пришел незнакомец, он продемонстрировал насмешливым кивком. Затем, презрительно зашипев, чтобы никто из нас не воспринял его реакцию неправильно, он отвернулся к пожилой женщине и подошедшим к ней туристам и медленно удалился, легонько покачиваясь в шаг и то ли пожимая, то ли передергивая широкими плечами, что наверняка должно было послужить нам своего рода предостережением. И, уже отойдя на несколько шагов, но не так далеко, чтобы мы могли не расслышать его слов, он проговорил: «Еврейский болтун», на что пожилая женщина ответила: «Как бы мне хотелось залепить ему по физиономии!»

Тейлор поспешил увести нас из главного зала в куда меньший по размеру боковой, где висела мемориальная доска с Геттисбергским посланием Линкольна, а фрески были посвящены теме освобождения от рабства.

– Услышать такое – в таком месте! – выдохнул отец. Голос его звучал еле слышно и дрожал от гнева. – В храме, воздвигнутом в честь такого человека!

Меж тем Тейлор обратил наше внимание на одну из фресок:

– Поглядите-ка! Ангел истины освобождает раба.

Но мой отец был не в состоянии чем-либо восхищаться.

– Думаете, при Рузвельте здесь могли бы прозвучать такие слова? Да они никогда не осмелились бы, пока он был президентом. А сейчас, когда в союзниках у нас ходит Адольф Гитлер... Да что там в союзниках – в лучших друзьях у президента США!.. Вот этим подонкам и кажется, будто теперь все дозволено. Это позор. И начинается этот позор в Белом доме...

С кем он, интересно, разговаривал, кроме как со мной? Мой старший брат отошел в сторонку с Тейлором, расспрашивая его о фресках, а моя мать из последних сил старалась

не выдать ни словом, ни жестом тех самых чувств, которые нахлынули на нее раньше, еще в машине, – хотя тогда к тому вроде бы не было ни малейшего повода.

– Вот, прочитай. – Отец указал мне на мемориальную доску с Геттисбергским посланием. – Просто прочитай. «Все люди равны перед Господом».

– Герман, – умоляюще прошептала моя мать. – Я этого больше не вынесу.

Мы вышли на свет божий и встали маленькой толпой на верхней ступени главного входа. Высоченный столп памятника Вашингтону находился примерно в полумиле отсюда, на другом конце пруда, на зеркальной глади которого отражались все здания и сооружения мемориала. Вокруг росли вязы – явно не дикие, а специально высаженные. Это был самый красивый пейзаж изо всех, какие мне доводилось видеть, патриотический рай, американский эдем, а мы скучились на пороге семьей изгнанников.

– Послушайте-ка. – Отец привлек меня и брата к себе. – Кажется, нам всем пора немного поспать. У нас был тяжелый день – у каждого по-своему, но тяжелый. Я хочу сказать, мы сейчас отправимся в гостиницу и на часок-другой приляжем. Что скажете на это, мистер Тейлор?

– Как вам будет угодно, мистер Рот. А вот после ужина, мне кажется, имеет смысл еще раз прокатиться всем семейством по Вашингтону, чтобы полюбоваться памятниками зодчества и вааяния в искусственном освещении.

– Значит, рекомендуете?.. Звучит недурно, а, Бесс? – Но развеселить мать оказалось куда тяжелее, чем нас с Сэнди. – Солнышко, – сказал ей муж, – нам попался кусок говна. Два куска говна. С таким же успехом мы могли бы вляпаться в говно и в Канаде. Но не позволять же этому говну портить нам удовольствие от поездки. Давайте хорошенько отдохнем, давайте наберемся сил, и мистер Тейлор нас подождет, а потом возобновим путешествие с чистой стороны. Поглядите по сторонам. – Отец широко раскинул руки. – Этим зрелищем просто обязан полюбоваться каждый американец. Обернитесь, парни. И посмотрите в последний раз на Авраама Линкольна.

Мы поступили, как нам было велено, но весь патриотический пар из нас уже вышел. Более того, меня от него уже подташнивало. И когда мы отправились в долгое нисхождение по мраморным ступеням, я слышал, как кое-кто из детей спрашивает у родителей: «А что, это действительно он? Прямо тут похоронен?» Моя мать шла по лестнице прямо у меня за спиной, по-прежнему пытаясь не дать собственному ужасу вырваться наружу, и внезапно я почувствовал, что сохранение ею самообладания зависит теперь исключительно от меня, а значит, я сам превратился в юного героя, чуть ли не в полубога, словно в меня вселилась какая-то частица Линкольна. Но когда она предложила мне руку, я не мог придумать ничего другого, кроме как принять эту руку, кроме как изо всех сил уцепиться за нее, – несмышлениш, каким я был тогда, незнайка, а если и знайка, то девять десятых моих познаний были почерпнуты из филателистического альбома.

В машине Тейлор распланировал для нас весь остаток дня. Мы вернемся в гостиницу, поспим, а без четверти шесть он заедет за нами и повезет нас ужинать. Причем мы или вернемся в тот же кафетерий возле Юнион-стейшн, в котором были на ланче, или он порекомендует нам пару-тройку других мест, где по приемлемым ценам кормят вкусно и качественно. А после ужина мы под его руководством отправимся на экскурсию по вечернему Вашингтону.

– И ничто не смущает вас, мистер Тейлор? – спросил мой отец.

Тот ответил ничего не значащим кивком.

– А откуда вы родом?

– Из Индианы, мистер Рот.

– Из Индианы! Вы только представьте себе, парни! А из какого города в Индиане?

– Вообще-то, ни из какого. Мой отец был механиком. Чинил сельскохозяйственный инвентарь. Мы вечно переезжали с места на место.

– Что ж, – сказал мой отец, – снимаю перед вами шляпу, сэр. Вы должны собой гордиться.

Причину этой гордости он Тейлору, впрочем, не сообщил.

И вновь Тейлор ответил только кивком: он явно не был охотником до пустой болтовни. Сквозило в нем – невзрачном, но строгом и деловитом человечке в тесноватом костюме – что-то армейское: так вот они работают «под прикрытием», только прикрывать ему было нечего, да и незачем; что-то неуловимо безличное и вместе с тем совершенно отчетливое. Про Вашингтон, округ Колумбия, – все, что прикажете; про все остальное – молчок.

Когда мы вернулись в гостиницу, Тейлор, припарковав машину, решил препроводить нас и в холл, словно был не экскурсоводом, а переводчиком ни на шаг от заморского гостя, – и правильно поступил, потому что у стойки этого маленького отеля мы сразу же увидели свои чемоданы, они были выставлены рядышком, все четыре.

За стойкой сидел незнакомый нам человек. Он сообщил, что является здешним управляющим.

Когда мой отец спросил, что подельывают в гостиничном холле наши чемоданы, управляющий рассыпался в извинениях:

– Прошу прощения, нам пришлось собрать ваши вещи за вас. Наш дневной портье ошибся. Он предоставил в ваше распоряжение номер, забронированный другой семьей. Вот, мы возвращаем вам задаток.

И он протянул отцу конверт с вложенной в него десятидолларовой купюрой.

– Но моя жена написала вам. И вы отписали ей в ответ. Мы забронировали номер несколько месяцев назад. Да и задаток мы вам отправили по почте. Бесс, где там у нас все квитанции?

Моя мать жестом указала на чемоданы.

– Сэр, – сказал управляющий, – этот номер занят, и других свободных номеров у нас тоже нет. Мы не подадим на вас в суд за незаконное пользование номером, имевшее место нынче днем, равно как и за обнаруженную нами недостачу куска мыла.

– Недостачу? – От одного этого слова у отца глаза на лоб полезли. – Вы что же, хотите сказать, что мы его украли?

– Нет, сэр, отнюдь. Возможно, один из мальчиков взял кусок мыла в качестве сувенира. Никаких претензий. Из-за такой мелочи мы не станем устраивать скандал. И выворачивать им карманы тоже не будем.

– Что все это, черт возьми, значит?

Отец грохнул кулаком по стойке в опасной близости от физиономии управляющего.

– Мистер Рот, если вам хочется устроить сцену...

– Да, – ответил отец, – мне хочется устроить сцену, и я ее устрою. И не отстану от вас, пока не выясню, что происходит с нашим номером!

– Что ж, – сказал управляющий, – вы не оставляете мне выбора. Придется вызвать полицию.

И тут моя мать, стоявшая, обняв нас с братом за плечи, на безопасном расстоянии от стойки и не подпуская к ней Сэнди и меня, окликнула отца по имени в попытке предостеречь, чтобы он не зашел слишком далеко. Но с этим она уже опоздала. Опоздала бы, впрочем, в любом случае. Никогда и ни за что не согласился бы он с тем, чтобы безропотно занять место, на которое бесцеремонно указывал ему управляющий.

– А всё этот чертов Линдберг! – сказал отец. – Все вы, фашистские ублюдки, почувствовали себя на коне!

– Вызвать ли мне окружную полицию, сэр, или вы соблаговолите немедленно убраться отсюда вместе с вашей семьей и вашими пожитками?

– Валяй вызывай, – ответил отец. – Валяй!

Меж тем в гостиничном холле, помимо нас, собралось уже пятеро или шестеро постельцев. Они прибывали по мере того, как спор разгорался, и не хотели уходить, так и не узнав, чем дело закончится.

И тут Тейлор встал бок о бок с моим отцом и сказал ему:

– Мистер Рот, вы совершенно правы, однако вмешательство полиции – это неверное решение.

– Нет, это единственно верное решение. Вызывайте полицию. – Отец вновь обращался теперь к управляющему гостиницей. – Против таких людей, как вы, в нашей стране есть законы.

Управляющий принялся набирать номер, а пока он это проделывал, Тейлор подошел к нашим чемоданам, взял по два в каждую руку и вынес их из гостиницы.

Моя мать сказала:

– Герман, все уже закончилось. Мистер Тейлор вынес вещи.

– Нет, Бесс, – с ожесточением ответил он. – Хватит с меня этой мерзости. Я хочу поговорить с полицией.

Тейлор вновь вошел в холл, пересек его, не задержавшись у стойки, за которой управляющий все еще прозванивался в полицию. Еле слышно, обращаясь исключительно к моему отцу, наш гид сказал:

– Тут неподалеку есть очень славная гостиница. Я только что позвонил туда из уличного автомата. У них найдется для вас комната. Это хороший отель на хорошей улице. Поедем туда – и вас немедленно зарегистрируют.

– Благодарю вас, мистер Тейлор. Но сейчас нам необходимо дождаться полиции. Мне хочется, чтобы стражи правопорядка напомнили этому человеку слова из Геттисбергского послания, которые я всего пару часов назад видел на мемориальной доске.

Когда мой отец упомянул о Геттисбергском послании, зеваки в холле принялись обмениваться понимающими улыбками.

– Что происходит? – шепотом спросил я у брата.

– Антисемиты, – шепнул он в ответ.

Оттуда, где мы сейчас стояли, было видно, как к гостинице подъехали на мотоциклах двое полицейских. Мы наблюдали за тем, как они глушат моторы и входят в холл. Один из них застыл на пороге, откуда он мог держать под контролем все помещение, тогда как другой проследовал к стойке и отозвал управляющего в сторонку, где они могли перекинуться словечком не для чужих ушей.

– Офицер, – начал было отец.

Полицейский резко крутанулся к нему.

– Стороны конфликта я могу выслушивать только поочередно, сэр. – И, вновь повернувшись к управляющему, продолжил доверительную беседу.

Отец обернулся к нам:

– Придется мне разобраться, парни. – А моей матери он сказал. – Не о чем беспокоиться.

Закончив разговор с управляющим, полицейский собрался наконец побеседовать с моим отцом. Улыбка, не покидавшая его губ, пока он перешептывался с управляющим, теперь исчезла, но обратился он к отцу спокойно и вроде бы даже приветливо:

– Что за проблемы, Рот?

– Мы заранее забронировали номер в этой гостинице на трое суток. Выслали задаток – и получили по почте письменное подтверждение. Вся документация – у моей жены в чемоданах. Мы прибыли сюда сегодня, зарегистрировались, въехали в номер, распаковали багаж и отправились на осмотр достопримечательностей, а когда вернулись, нас вышвырнули, потому что номер оказался забронирован кем-то другим.

– Ну а проблема-то в чем?

– Офицер, наша семья состоит из четырех человек. Мы приехали из Нью-Джерси. Нас нельзя просто взять и вышвырнуть на улицу.

– Но если номер бронирован...

– Да никем он не бронирован, кроме нас! Ну а если даже бронирован, то с какой стати отдавать им предпочтение перед нами?

– Но управляющий возвратил вам задаток. И даже взял на себя труд упаковать ваш багаж.

– Офицер, вы не вникаете в суть вопроса. Чем наша бронь хуже чьей-то другой? Мы с семьей побывали в Мемориале Линкольна. Там на стене висит Геттисбергское послание. Вам известно, что в нем сказано? Все люди равны перед Богом.

– Но это не означает, что любая гостиничная бронь равна другой.

Голос полицейского разносился по всему холлу; при этих словах кое-кто из свидетелей инцидента, не в силах сдерживаться, расхохотался.

Моя мать бросила нас с Сэнди одних и поспешила на выручку к мужу. Ей, правда, предстояло выбрать для собственного вмешательства такой момент, чтобы не усугубить ситуацию, – и вот, как ей при всем ее волнении показалось, такая пора настала.

– Дорогой, давай просто уйдем отсюда. Мистер Тейлор нашел нам гостиницу неподалеку.

– Нет! – Он сбросил с плеча ее руку, тянущую его назад. – Этому полицейскому прекрасно известно, почему нас выгоняют на улицу. Это известно ему, это известно управляющему, это известно всем присутствующим!

– Полагаю, вам стоит послушаться вашу жену, – сказал полицейский. – Мне кажется, вам следует поступить в точности так, как она советует. Покиньте помещение, Рот. – Размашистым жестом он показал на входную дверь. – Прежде чем у меня иссякнет терпение.

Дух противоборства еще не оставил моего отца, но и здравый смысл его не покинул тоже. Во всяком случае, он понял, что спор потерял малейший интерес для всех, кроме него самого. Мы вышли из гостиницы, провожаемые взглядами присутствующих. Происходило это в молчании, и первым обрел дар речи второй – оставшийся у входа – полицейский. Стоя возле цветочной кадки, он дружелюбно закивал головой и, когда мы поравнялись с ним, протянул руку и погладил меня по волосам:

– Как дела, паренек?

– Нормально, – ответил я.

– А это у тебя что?

– Марки, – ответил я, торопясь прошмыгнуть мимо него, пока ему не вздумается предложить мне показать коллекцию – и мне во избежание ареста придется подчиниться.

Тейлор подждал нас на тротуаре. Мой отец сказал ему:

– Такое со мной впервые в жизни. Я работаю с людьми, я встречаюсь с людьми из любых слоев общества, из любого круга, но никогда еще...

– «Дуглас» продали, – пояснил Тейлор. – Теперь у этой гостиницы новый хозяин.

– Но наши друзья останавливались здесь – и все было замечательно, все было на сто процентов безупречно, – сказала моя мать.

– Новый хозяин, миссис Рот, все дело в нем. Но я договорился о номере для вас в «Эвергрине» – и там все и впрямь будет замечательно.

И как раз в этот миг послышался грохот самолета на бреющем полете в небе над Вашингтоном. Прохожие тут же застыли на месте, а кое-кто из мужчин воздел руки к небу, как будто оттуда, с вышины, прямо в июне посыпал снег.

Всезнайка Сэнди, умевший распознавать любые летательные аппараты по внешнему виду, указав на самолет пальцем, воскликнул:

– Истребитель «Локхид»!

– Это президент Линдберг, – пояснил Тейлор. – Каждый день где-то после ланча он позволяет себе малость полетать над Потомаком. Долетает до Аллеган, летит по гребню Блу-ридж – и до Чесапикского залива. Люди с нетерпением его ожидают.

– Это самый быстрый самолет в мире, – сказал мой брат. – Немецкий «Мессершмитт-110» имеет предельную скорость в триста шестьдесят пять миль в час, а наш перехватчик – все пятьсот. Он «сделает» в бою любой иностранный истребитель.

Мы все, вместе с Сэнди, которому не удавалось скрыть восхищение и восторг, следили за полетом истребителя – того самого, за штурвалом которого Линдберг летал в Исландию на встречу с Гитлером. Самолет постепенно набрал высоту, а затем стремительно исчез в небе. Уличные зеваки разразились аплодисментами, кто-то крикнул: «Ура, Линди, ура!», а затем каждый пошел своей дорогой.

В гостинице «Эвергрин» отцу с матерью досталась одна односпальная кровать на двоих, а нам с Сэнди – другая. Номер с двумя односпальными кроватями – это все, что в такой спешке удалось раздобыть для нас Тейлору, но – с оглядкой на то, что произошло в «Дугласе», – никто из нас не вздумал пожаловаться: ни на то, что на этих кроватях нельзя было как следует отдохнуть, ни на то, что наш номер оказался еще меньшим, чем в «Дугласе», ни на душевую размером со спичечный коробок, добросовестно продезинфицированную и все равно плохо пахнущую. Никто не жаловался, особенно потому, что приняли нас чрезвычайно любезно – приветливая женщина-портье, пожилой негр-посыльный, которого она называла Эдвард Би; Эдвард погрузил наши чемоданы на тележку и покатил ее к двери номера на первом этаже, в его дальнем конце, – отперев которую, он шутливо провозгласил: «Гостиница “Эвергрин” приветствует семейство Ротов в столице государства!», как будто открыл нам вход не в мрачный склеп, а в будуар отеля «Риц». Мой брат глядел на Эдварда Би во все глаза, пока тот возился с нашим багажом, а на следующее утро, встав раньше всех, воровато оделся, подхватил свой блокнот и отправился в холл рисовать негра. За это время, однако же, дежурство Эдварда Би закончилось, правда новый посыльный, тоже негр, хотя и не столь живописный и вышколенный, оказался как натурщик ничуть не хуже: темнокожий, практически черный, с выраженными африканскими чертами лица, – такие негры Сэнди еще не встречались, разве что – на снимках в старых номерах «Нэшнл джиографик».

Большую часть утра заняла экскурсия, устроенная нам Тейлором, – наш гид показал нам Капитолий, Конгресс, а чуть позднее – Верховный суд и Библиотеку Конгресса. Тейлор знал наизусть высоту каждого здания, объем – в кубических ярдах – каждого помещения, знал, откуда привезли мрамор для пола, имена персонажей на каждой картине и фреске, все события, в честь которых они были написаны. И так обстояло дело в каждом административном здании, в которые мы заходили.

– А вы штучка, – сказал ему мой отец. – Паренек из индианской глубинки! Да вы ходячая энциклопедия!

После ланча мы вдоль по Потомаку поехали на юг, в Вирджинию, чтобы посетить Маунт-Вернон.

– Разумеется, Ричмонд, штат Вирджиния, был столицей конфедератов, то есть одиннадцати южных штатов, вышедших из Союза и образовавших Конфедерацию, – пояснил Тейлор. – Многие великие битвы гражданской войны разыгрались на вирджинских полях. Примерно в двадцати милях отсюда на запад находится национальный парк «Поле битвы Манассас». На территории парка находятся поля двух сражений, в которых конфедераты поместились силами с северянами возле речушки Бул-Ран – сперва, в июле 1861 года, под командованием генералов П. Г. Т. Борегара и Дж. Э. Джонстона, а затем, в августе 1862 года, – под началом у генералов Роберта Э. Ли и Джексона Каменная Стена. Командующим вирджинской армией был генерал Ли, а президентом Конфедерации – Джефферсон Дэвис; он сиднем сидел в Ричмонде и осуществлял общее управление оттуда. Да вы и сами это знаете. В ста двадцати

пяти милях отсюда на юго-запад находится Аппоматтокс, штат Вирджиния, и вам известно, что за событие произошло в тамошнем здании суда в апреле 1865 года, девятого апреля, если уж быть точным. Генерал Ли капитулировал перед союзным генералом Грантом – и тем самым был положен конец гражданской войне. И вам известно также, что случилось с президентом Линкольном шесть дней спустя: он был застрелен.

– Грязные убудки, – повторил любящий ему реплику мой отец.

– А вот и он, – воскликнул Тейлор, указывая на открывшийся нашим взорам дом президента Вашингтона.

– Ах, какой он красивый, – заметила моя мать. – Посмотрите на крыльцо! Посмотрите на высокие окна! И, мальчики, это не копия, а оригинал – в этом самом доме Джордж Вашингтон и жил!

– И его жена Марта, – напомнил Тейлор. – И двое ее детей от первого брака, которых он усыновил.

– Вот как? Я этого не знала! А у моего младшего сына есть марка с Мартой Вашингтон, – сказала мать. – Покажи мистеру Тейлору свою марку.

И я тут же нашел ее – коричневую полторацентовую марку 1938 года выпуска с портретом супруги первого президента США в профиль, а волосы ее убраны, как пояснила моя мать, когда я заполучил эту марку, под нечто среднее между дамской шляпой без полей и сеткой для волос.

– Да, это она, – подтвердил Тейлор. – А еще она изображена, как вам, конечно, известно, на четырехцентовой марке 1923 года выпуска и на восьмицентовой 1902-го. И эта марка 1902 года, миссис Рот, стала первой маркой с изображением американской женщины.

– А ты это знал? – спросила у меня мать.

– Знал, – ответил я, и все неприятности, связанные для еврейской семьи с пребыванием в линдберговском Вашингтоне, оказались мною моментально забыты; я почувствовал себя так же замечательно и естественно, как в школе, когда перед началом занятий поднимаешься вместе со всеми на ноги и поешь национальный гимн, вкладывая в это пение всю душу.

– Она была воистину великой женой великого мужа, – сказал нам Тейлор. – Ее девичье имя было Марта Дэндридж. Вдова полковника Дэниэла Парка Кастиса. Ее детей звали Пэтси и Джон Парк Кастис. Выйдя замуж за Вашингтона, она принесла ему в приданое одно из самых крупных состояний во всей Вирджинии.

– Вот что я вечно внушаю своим сыновьям. – Впервые за весь день мой отец беззаботно расхохотался. – Подбери себе жену не хуже, чем у президента Вашингтона. Богатство – любви не помеха.

Посещение Маунт-Вернона стало самым счастливым эпизодом нашей поездки – то ли из-за красоты садов и угодий, деревьев, да и самого дома, высящегося на холме с видом на Потомак; то ли из-за непривычности здешнего убранства, мебели и обоев – обоев, о которых Тейлору нашлось что порассказать; то ли потому, что нам удалось увидеть с расстояния всего в несколько футов и кровать на ножках, в которой некогда спал Вашингтон, и бюро, за которым он работал, и шпаги, которые он носил, и книги, которые принадлежали ему и наверняка были им читаны, – то ли просто потому, что мы отъехали на пятнадцать миль от Вашингтона, округ Колумбия, где надо всем и во всем веял дух Линдберга.

Маунт-Вернон был открыт для посетителей до полпятого, так что нам с избытком хватило времени обойти все комнаты и пристройки, прогуляться по саду и даже заглянуть в сувенирную лавку, где я поддался искушению в виде ножа для вскрытия конвертов, представляющего собой точную четырехдюймовую копию мушкета со штыком периода войн за независимость. Я купил его, потратив двенадцать центов из пятнадцати, сэкономленных мною на завтра, в предвидении визита в Бюро по выпуску денежных знаков и ценных бумаг. В той же сувенирной лавке – но уже из собственных сбережений – Сэнди гордо приобрел иллюстриро-

ванную биографию Вашингтона: иллюстрации должны были пригодиться ему как образчики для новых патриотических рисунков в альбом, хранящийся под кроватью.

День уже клонился к концу, и мы собирались выпить чего-нибудь прохладительного в кафетерии, когда откуда ни возьмись издала замаячил низко летящий аэроплан. Сперва он гудел тихонько, потом все громче и громче, – и вот уже люди закричали: «Это президент! Это Линди!» Мужчины, женщины и дети дружно высыпали на газон и принялись махать руками, приветствуя приближающийся самолет, который, пролетая над Потомаком, в знак ответного внимания качнул крылами. «Ура! – закричали посетители Маунт-Вернона. – Ура нашему Линди!» Это был тот же самый «Локхид», который мы видели накануне в небе над городом, а сейчас нам не оставалось ничего другого, кроме как стоять в патриотически настроенной толпе вместе со всеми, наблюдая за тем, как самолет разворачивается в небе над усадьбой Джорджа Вашингтона и улетает вдоль по течению Потомака на север, назад, в столицу.

– Да это же не он. Это была она!

Один из зевак, заранее запасшийся подзорной трубой, теперь принялся утверждать, что за штурвалом перехватчика сидит вовсе не Линдберг, а его жена. И он вполне мог оказаться прав. Линдберг научил ее – тогда еще невесту – управлению самолетом; она часто сопровождала его в полетах и перелетах; и вот теперь люди взялись объяснять собственным детям, что пилотом только что пролетевшего над Маунт-Верноном истребителя была Энн Морроу Линдберг, а значит, они стали свидетелями незабываемого исторического события. К этому времени умение Энн Морроу управлять самыми совершенными американскими самолетами в сочетании со скромным благородством поведения хорошо воспитанной представительницы привилегированного сословия и литературною одаренностью – жена президента выпустила два сборника лирических стихотворений – сделали ее, согласно всем опросам, самой популярной женщиной во всей стране.

Так что наша великолепная вылазка оказалась омрачена – и не столько тем, что один из супругов Линдбергов во второй раз за два дня пронесся у нас над головами, совершая тренировочный полет, сколько восторженным ступором, как выразился мой отец, в который это зрелище повергло всех, кроме нас. «Мы знали, что дела обстоят плохо, – едва вернувшись домой в Ньюарк, принялся обзванивать друзей отец, – но даже не догадывались, насколько плохо. Надо побывать там, чтобы собственными глазами увидеть, на что это похоже. Они живут во сне, а мы живем в кошмаре».

Это самое изящное высказывание, какое я слышал из его уст когда-либо, и наверняка куда более отточенное, чем лучшая из поэтических строк супруги президента Линдберга.

Тейлор отвез нас в гостиницу помыться и передохнуть и ровно без четверти шесть вернулся за нами, чтобы доставить в уже знакомую нам недорогую закусочную возле железнодорожного вокзала; после ужина мы еще раз встретимся, пообещал он, и совершим так и не состоявшуюся накануне экскурсию по вечернему Вашингтону.

– А почему бы вам не поужинать вместе с нами? – спросил у него мой отец. – А то вы все время питаетесь где-то в сторонке.

– Мне не хотелось бы показаться нескромным, мистер Рот.

– Да бросьте, вы великолепный гид, и нам с вами будет только веселее. Давайте же, присоединяйтесь!

Вечером в кафетерии оказалось еще больше народу, чем днем, – ни одного свободного места и длинная очередь на раздачу, где хозяйничали трое мужчин в белых передниках и колпаках, работы у которых было столько, что им не хватало времени на то, чтобы отереть пот, градом льющийся со лба. Усевшись за столик, моя мать обрела себя в привычной роли заботливой наседки – «Маленький мой, окунать подбородок в тарелку совершенно не обязательно!», – а присутствие за столом гида (на правах друга семьи или родственника) тоже оказалось в некотором роде приключением, пусть и не столь захватывающим, как процесс вышвыривания нас

из гостиницы «Дуглас», – ведь не каждый день получаешь возможность полюбоваться тем, как управляется с едой человек, выросший в Индиане. Мой отец единственный из нас обращал внимание на то, как ведут себя люди за соседними столиками, – а все они горланили, смеялись и курили, поглощая приготовленную на французский лад пищу – ростбиф под соусом, называемый здесь лангетом, и пирог с орехами, – тогда как он сам задумчиво теребил пальцами стакан с водой, судя по всему, размышляя над тем, как и почему проблемы, обуревающие посетителей, так не похожи на его собственные.

И когда он наконец решил поделиться своими наблюдениями и размышлениями, которые по-прежнему интересовали его куда больше, чем ужин, то обратился не к нам, а к Тейлору, который как раз приступал к десерту, а на десерт он выбрал пирог, присыпанный тертым сыром.

– Мы еврейская семья, мистер Тейлор. Если вы не сообразили этого с самого начала, то поняли потом, когда нас вышвырнули из гостиницы как раз по этой причине. Сильный шок для нас. Его просто так не преодолеешь. Сильный шок, потому что... хотя такое могло бы случиться, и если бы этот человек не стал президентом, но он им стал, и он не любит евреев. Он любит Адольфа Гитлера.

– Герман, – шепнула моя мать, – ты напугаешь нашего младшенького.

– Наш младшенький уже полностью в курсе дела, – уверил он ее и вновь обратился к Тейлору. – Вам когда-нибудь доводилось слышать Уолтера Уинчелла? Позвольте мне процитировать его: «Не подразумевает ли достигнутое ими дипломатическое взаимопонимание и других, не преданных пока огласке, аспектов? Не пришли ли они к согласию и по вопросу об американских евреях, а если так, то на чем именно они ударили по рукам?» Уинчелл поразительно смелый человек. У него хватило мужества выступить с таким заявлением в общенациональном эфире.

Неожиданно один из посетителей подошел к нашему столику так близко, что практически навис над нами, – кряжистый немолодой усач с заправленной под ремень салфеткой. Судя по всему, ему не терпелось встрять в разговор. Ужинал он за соседним столиком – и вся его компания теперь смотрела в нашу сторону, с нетерпением дожидаясь дальнейшего развития событий.

– Эй, приятель, в чем дело? – сказал мой отец. – Отойдите-ка отсюда!

– Уинчелл еврей, – объявил усач, – он на содержании британского правительства.

В ответ на что руки моего отца, вооруженные ножом и вилкой, взметнулись в воздух словно бы для того, чтобы вонзиться в пивной живот усачу, больше похожий, впрочем, на рождественского гуся. Этот жест был достаточно недвусмыслен, однако усач не дрогнул. Я мысленно назвал его усачом, а не усатиком, потому что носил он не черные усики а ля Адольф Гитлер, а пушистые седые усы, придающие человеку сходство с китом, – во всяком случае, на кита был похож президент Тафт с точно такими же усами на розовой пятицентовой марке 1938 года выпуска.

– Пора бы завести дело на распоясавшегося еврейского болтуна, – продолжил усач.

– Хватит! – Тейлор, вскочив с места, вклинился при всей своей миниатюрности между исполинской фигурой усача и моим разъярившимся, но словно бы прижатым к столу отцом.

Еврейский болтун. Во второй раз за менее чем сорок восемь часов.

Двое мужчин в передниках, выскочив из-за стойки, подбежали к усачу и взяли его в клещи.

– Вы не у себя в салуне, – сказал ему один из них, – так что ведите себя прилично!

Приятель усача как бы в шутку утащил его обратно за столик. А один из мужчин в передниках подошел к нашему столику и сказал:

– Кофе за мой счет, и пейте его сколько захотите. И позвольте мне угостить мальчиков еще одной порцией мороженого. И сидите здесь, ни о чем не беспокоясь. Я владелец заведения,

меня звать Уилбером, и берите любой десерт – тоже бесплатно. И позвольте принести вам еще воды со льдом.

– Спасибо. – Голос отца звучал безжизненно, как будто вместо него заговорило какое-нибудь механическое устройство. – Спасибо. – Или как будто заело пластинку. – Спасибо.

– Герман, прошу тебя, – зашептала моя мать. – Давай уйдем отсюда.

– Ни в коем случае. Нет. Мы закончим ужин. – Он закашлялся, прежде чем смог продолжить. – Нам предстоит вечерняя экскурсия по Вашингтону. Мы никуда не уедем, пока не побываем на вечерней экскурсии по Вашингтону.

Другими словами, нас не спугнешь и не запугаешь, мы доведем до конца все, что наметили заранее. Для нас с Сэнди это означало еще по одной гигантской порции мороженого, которые меж тем подал на стол один из мужчин в передниках.

Через какую-то пару минут жизнь в закуской пошла своим чередом: заскрипели стулья, застучали ножи и вилки, затренькали тарелки; разве что все стало самую малость потише.

– Еще кофе? – спросил у жены отец. – Ты слышала: за счет заведения.

– Нет, – пробормотала она, – не хочется.

– А вам, мистер Тейлор?

– Нет, спасибо, мне ничего не надо.

– Что ж, – сказал отец, обращаясь к Тейлору. Он все еще был не в себе, но, похоже, уже начал отходить. – А чем вы занимались раньше? Или вы с самого начала работали гидом по Вашингтону?

И как раз тут мы вновь услышали голос человека, ранее подходившего к нам, чтобы проинформировать, что Уолтер Уинчелл, подобно Бенедикту Арнольду<sup>3</sup> в приснопамятные времена, проданся англичанам. «Не волнуйтесь, – сказал он своим друзьям, – евреев мы скоро вышвырнем».

Даже в здешнем шуме мы прекрасно расслышали его слова – тем более что он не считал нужным понизить голос. Услышали и все вокруг. Но половина посетителей сделала вид, будто ничего не заметила, они даже не оторвали взгляда от тарелок, тогда как другая половина – или чуть меньше, но в любом случае далеко не единицы, – издевательски посмотрела в нашу сторону.

То, как обмазывают дегтем и вываливают в перьях, я видел раз в жизни, в каком-то вестерне. Но тут я подумал: «Сейчас нас обмажут дегтем и вывалят в перьях», – и представил себе унижительный и удушающий слой грязи, которую никогда не смоешь.

Мой отец на мгновение замер, судя по всему, решая, то ли в очередной раз попытаться взять ситуацию под контроль, то ли выкинуть белый флаг.

– Я только что спросил у мистера Тейлора, – внезапно обратился он к моей матери, взяв обе ее руки в две свои, – чем он занимался до того, как стал гидом.

И посмотрел на нее как гипнотизер, только что произнесший ключевое слово, которое должно сломить волю гипнотизируемого и лишить его возможности действовать самостоятельно.

– Да, – ответила она, – я слышала. – И, хотя слезы вновь нахлынули ей на глаза, она, держа спину прямой, повернулась к Тейлору. – Да, расскажите нам это, пожалуйста.

– А вы, парни, давайте-ка управляйтесь с мороженым, – сказал отец. Перегнувшись через столик, он потрепал нас по плечам и заставил взглянуть ему в глаза. – Оно вкусное?

– Вкусное, – ответили мы в один голос.

– Я преподавал в колледже, мистер Рот.

---

<sup>3</sup> Герой Войны за независимость, генерал, ставший позднее предателем и изменником. Имя Б. Арнольда стало нарицательным именем изменника и предателя.

– Вот как? – воскликнул отец. – Слышали, парни. Вы ужинаете с преподавателем из колледжа!

– Преподавал историю, – уточнил Тейлор.

– Я мог бы и сам догадаться, – польстил ему мой отец.

– Это был маленький колледж на северо-западе Индианы. В 1932-м там произошло сокращение штатов. Затронувшее и меня.

– И что же вы? – спросил мой отец.

– Ну, сами можете себе представить. При тогдашней-то безработице и непрерывных забастовках. Я занимался всем понемногу. Косил мяту в Индиане. Грузил мясо на скотобойне в Хаммонде. Грузил ящики с мылом в Восточном Чикаго. Проработал год на фабрике шелкового белья в Индианаполисе. Поработал даже внештатным санитаром-почасовиком в психиатрической лечебнице в Логанспорте, возился там с душевнобольными. Трудные времена в конце концов привели меня сюда.

– А как называется колледж, в котором вы преподавали? – спросил мой отец.

– Уобаш.

– Уобаш. – Отец со вкусом растянул понравившееся ему слово. – Кто же не слышал о колледже Уобаш!

– О колледже на четыреста студентов? На четыреста двадцать шесть, если быть точным. Да никто о нем не слышал. Люди скорее слышали изречение одного из тамошних выпускников, хотя они, понятно, не знают, что он тамошний выпускник. Его знают как вице-президента США на протяжении двух сроков подряд – с 1912 по 1920-й. Вице-президент США Томас Райли Маршалл.

– Конечно же, – сказал мой отец. – Вице-президент Маршалл. Губернатор Индианы, член Демократической партии. Вице-президент при еще одном выдающемся демократе – президенте США Вудро Вильсоне. Великий был человек, этот Вильсон. Именно президент Вильсон... – Теперь, после двухдневного урока, преподнесенного Тейлором, отцу и самому захотелось впасть в менторский тон. – ...нашел в себе мужество назначить Луиса Д. Брендайса членом Верховного суда. И это был первый еврей, ставший членом Верховного суда. Вам это известно, парни?

Нам это было известно. Он говорил нам об этом не в первый раз. Но в первый – так громко, на всю закусочную в Вашингтоне, округ Колумбия.

Однако Тейлора было не так-то легко сбить с толку.

– А изречение вице-президента и впрямь облетело всю страну и не изгладилось из памяти до сих пор. Однажды, в Сенате США, председателем которого он являлся по своему вице-президентскому статусу, Маршалл, обратившись к сенаторам и положив тем самым конец очередным дебатам, воскликнул: «В чем наша страна и впрямь нуждается – так это в хороших сигарах по пяти центов за штуку!»

Мой отец рассмеялся – это и впрямь была общеизвестная и полюбившаяся народным массам фраза, которую знали даже мы с Сэнди, причем как раз в его пересказе. Власть посмеявшись, отец решил еще раз удивить не только собственную семью, но и публику из закусочной, уже успевшую выслушать от него похвалы Вудро Вильсону за то, что тот назначил еврея членом Верховного суда.

– В чем наша страна и впрямь нуждается, – пародируя Маршалла, торжественно провозгласил он, – так это в новом президенте!

И никто его не одернул. Никто. Усидев в кафетерии после неприятного инцидента, отец, можно сказать, практически одержал победу.

– А есть ведь еще и река Уобаш? – вновь обратился он к Тейлору.

– Самый длинный приток Огайо, – согласился тот. Длинной в четыреста семьдесят пять миль, течет через весь штат с востока на запад.

– И есть еще песня, – чуть ли не с нежностью вспомнил мой отец.

– Вы совершенно правы, – сказал Тейлор. – Знаменитая песня. Может быть, столь же знаменитая, как «Янки-Дудл». Написал ее в 1897 году Пол Дрессер. «На берегах Уобаша, в дали далекой».

– Ну разумеется! – воскликнул мой отец.

– Любимая песня наших солдат на испано-американской войне 1898 года. Избрана гимном штата Индиана в 1913 году. 4 марта, если быть точным.

– Ну конечно же, я ее знаю, – заверил его мой отец.

– Мне кажется, ее знает каждый американец, – ответил Тейлор.

И тут с места в карьер отец запел эту песню – причем так громко, чтобы было слышно всему кафетерию.

– Свет свечей сквозь листву сикаморы...

– Отлично, – с искренним восхищением сказал наш гид, – просто великолепно! – И бравурный голос моего отца заставил нашу маленькую ходячую энциклопедию наконец улыбнуться.

– Мой муж, – сказала моя мать, – прекрасно поет. – Глаза у нее сейчас были сухими.

– Что да, то да, – согласился Тейлор, – и в отсутствие аплодисментов (правда, отцу похлопал из-за стойки Уилбер) мы быстро поднялись с места и вышли на улицу, прежде чем наш жалкий триумф иссякнет и человек с президентскими усами впадет в неистовство.

### 3. Шпионя за христианами

*Июнь 1941 – декабрь 1941*

22 июня 1941 года Гитлер в одностороннем порядке нарушил пакт о ненападении, заключенный со Сталиным два года назад, перед самым германским вторжением в Польшу. К этому дню Гитлер уже захватил всю Европу и теперь, нанося массированные удары сталинской армии, двинулся на восток, рассчитывая покорить Азию и выйти к Тихому океану. Тем же вечером, в связи с беспрецедентным расширением войны в Европе, президент Линдберг обратился к нации с речью, в которой звучала столь бесхитростная и неприкрытая похвала германскому фюреру, что удивился даже мой отец. «Этим решением, – продекларировал президент, – Адольф Гитлер заявил о себе как о величайшем борце с коммунизмом и всем злом, которое тот несет всему человечеству. Конечно, не стоит преуменьшать и заслуг Японской империи. Самозабвенно сражаясь за идею модернизации феодального Китая, находящегося под властью коррумпированного режима Чан Кайши, японцы с ничуть не уступающим энтузиазмом взялись искоренить находящихся в численном меньшинстве фанатиков китайского коммунизма, которые стремятся взять под свой контроль всю эту необъятную страну с тем, чтобы превратить ее в один огромный исправительный лагерь подобно тому, как обошлись большевики с Россией. Но именно Гитлера мир должен сегодня благодарить за удар по Советскому Союзу. Если немецкая армия одержит верх в этой войне – а есть все основания полагать, что так оно и будет, – Америке никогда не придется считаться с опасностью распространения щупалец коммунизма по всему свету. Мне остается только надеяться на то, что так называемые интернационалисты, до сих пор, пусть и в меньшинстве, заседающие в Конгрессе США, осознают, что если бы мы позволили втянуть наше государство в мировую войну на стороне Великобритании и Франции, то сейчас наша великая демократическая держава оказалась бы союзницей преступного коммунистического режима. Начиная с сегодняшнего дня немецкая армия ведет войну, которую, не случись этого, рано или поздно пришлось бы вести армии американской.

Правда, – подчеркнул далее президент, – наши вооруженные силы остаются в полной боевой готовности, и, – заверил он сограждан, – точно так же дело будет обстоять и впредь, потому что Конгресс принял по его настоянию закон, согласно которому восемнадцатилетние юноши подлежат обязательному призыву на двухлетнюю срочную службу, после чего еще восемь лет остаются в запасе первой очереди, чрезвычайно способствуя тем самым решению сформулированной самим Линдбергом двуединой задачи: избавить Америку от участия в зарубежных войнах и от распространения этих войн на территорию Америки». Особый путь Америки – это словосочетание Линдберг употребил раз пятнадцать – и в инаугурационной речи, и теперь, в выступлении вечером 22 июня. Когда я спросил у отца, что это значит (читая газетные заголовки и испытывая в связи с ними нарастающее беспокойство, я все чаще просил отца объяснить мне смысл того или иного выражения), он, нахмурившись, сказал:

– Это значит отвернуться от собственных друзей. Это значит подружиться со своими врагами. А еще, сынок, это значит разрушить все, на чем стоит Америка.

По программе «С простым народом» – то есть добровольной трудовой программе, призванной познакомить городскую молодежь с традициями и жизнью в глубинке, как сформулировали в новом, созданном Линдбергом, комитете по делам нацменьшинств Министерства внутренних дел, – мой брат Сэнди поехал проходить летнюю практику в Кентукки, на ферме, где выращивают табак. Произошло это 30 июня 1941 года. Поскольку Сэнди никогда раньше не уезжал из дому, и поскольку в семье нашей никогда раньше не царили столь тревожные настроения, и поскольку мой отец не без оснований опасался того, что сам факт учреждения такого департамента может означать понижение нашего статуса полноправных граждан

США, и поскольку Элвин, уже поступивший на службу в канадскую армию, стал источником вечных волнений для всей семьи, – прощание протекало со всевозможными ахами и охами. Мой брат сумел устоять под натиском родителей, до последней минуты отговаривавших его от участия в программе «С простым народом», да и записался-то в нее несколькими неделями раньше не в последнюю очередь благодаря энтузиазму, с которым поддержала эту идею младшая сестра матери, Эвелин, пылкая натура которой заставила ее поступить на службу ответственным секретарем в офис рабби Лайонела Бенгельсдорфа, назначенного новой администрацией директором местного отделения департамента по делам нацменьшинств в штате Нью-Джерси. Декларированной задачей вновь учрежденного департамента была помощь религиозным и национальным меньшинствам Америки в деле интеграции в общенациональный стиль жизни, хотя по весне 1941 года единственным меньшинством, серьезно заинтересовавшимся этим проектом, оказалось наше. Да так, судя по всему, и было задумано. Практический смысл программы «С простым народом» заключался в том, чтобы разлучить еврейских мальчиков в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет с родителями и отправить их на восемь недель на сельскохозяйственные работы в сотнях миль от родного дома, расположенного, как правило, в крупном городе. Плакаты, рекламирующие новую правительственную программу, были развешаны на стендах для официальной информации как у нас в Ченселлоре, так и в Виквахике – в средней школе буквально по соседству, ученики которой, как и у нас, чуть ли не на все сто процентов были евреями. В один прекрасный день, еще в апреле, представитель местного отделения департамента прибыл в школу потолковать о новой программе с мальчиками от двенадцати и старше – и в тот же вечер Сэнди вышел к ужину с заполненным формуляром, который, правда, требовалось подписать и родителям.

– Ты хоть понимаешь, на что эта программа нацелена? – спросил у него отец. – Понимаешь, почему Линдбергу вздумалось вырвать мальчиков вроде тебя из семьи и сослать их в село? Ты имеешь хоть малейшее представление о том, что за этим скрывается?

– Если ты об антисемитизме, то я его тут не нахожу. Это ты всюду видишь антисемитизм – и только его. А для меня это превосходный шанс.

– Шанс на что?

– Пожить на ферме. Побывать в Кентукки. Все там зарисовать. Трактора. Амбары. Животных. Всю тамошнюю живность.

– Но тебя шлют туда не для того, чтобы ты рисовал живность. Тебя шлют кормить свиней помоями. Тебя шлют возиться с навозом. К концу каждого дня ты вымотаешься настолько, что на ногах не удержишься, не говоря уж о том, чтобы рисовать живность.

– А твои руки! – поддержала мужа моя мать. – На фермах повсюду колючая проволока. И сельхозмашины с режущими поверхностями. Изуродуешь себе руки – и все, прощай, живопись! Я думала, ты пойдешь на лето в Колледж изящных искусств. И поучишься рисованию у мистера Леонарда!

– Колледж от меня никуда не убежит. А тут я смогу увидеть Америку!

На следующий вечер к нам на ужин была приглашена тетя Эвелин; предполагалось, что в эти часы Сэнди отправится к однокласснику делать уроки и таким образом не станет свидетелем спора о программе «С простым народом», который наверняка разгорится между гостьей и моим отцом, – и этот спор и впрямь вспыхнул, едва тетя Эвелин, переступив через порог, объявила, что лично займется документами Сэнди, как только те поступят к ним в офис.

– Вот только не надо нам таких одолжений, – без улыбки ответил ей мой отец.

– Ты хочешь сказать, что не собираешься отпускать его?

– С какой стати? – возразил отец. – Я что, с ума сошел?

– А что ты имеешь против? – вспыхнула тетя Эвелин. – Только одно: ты из тех евреев, что боятся собственной тени.

В ходе ужина обмен колкостями только усилился. Мой отец утверждал, что программа «С простым народом» представляет собой первое звено задуманной Линдбергом цепочки мероприятий, то есть отделить еврейских детей от родителей и тем самым разрушить внутрисемейные связи, тогда как тетя Эвелин, не слишком церемонясь, отвечала, что евреи вроде моего отца боятся на самом деле лишь одного, а именно, что их дети вырастут не такими страдающими куриной слепотой паникерами, как они сами. Элвин оказался ренегатом по отцовской линии, а Эвелин – диссиденткой со стороны матери. Эвелин участвовала в создании нового ньюаркского Союза учителей левого толка, в отличие от более многочисленной, совершенно аполитичной Учительской ассоциации, с которой его члены отчаянно соперничали за контракты, заключаемые с муниципалитетом. В 1941 году Эвелин, младшей сестре моей матери, исполнилось тридцать лет, и два года прошло с тех пор, как скончалась от инфаркта их мать – моя бабушка по материнской линии – после практически десятилетнего пребывания в инвалидной коляске. Десять лет они жили вдвоем в крошечной холостяцкой квартирке на Дьюи-стрит, неподалеку от школы, в которой и работала Эвелин, и все заботы о беспомощной матери лежали на ней. И в те дни, когда Эвелин надо было идти на службу, а соседка оказывалась занята и не могла то и дело навещать к старушке, моя мать садилась на автобус и ехала на Дьюи-стрит присмотреть за матерью, пока младшая сестра не вернется из школы. А когда Эвелин субботним вечером отправлялась со своими друзьями-интеллектуалами в Нью-Йорк на какую-нибудь театральную премьеру, бабушку или перевозили к нам на ночь, или же моя мать ночевала у нее на Дьюи-стрит, вдали от мужа и детей. И происходило такое частенько – Эвелин или заранее объявляла, что уезжает с ночевкой, или обещала вернуться к полуночи, однако не возвращалась. К этому добавлялись долгие вечерние часы, в которые Эвелин уже после школы не торопилась вернуться домой из-за многолетней любовной интрижки с учителем младших классов из северного Ньюарка, который, как и она сама, оказался пылким общественным деятелем, но, в отличие от Эвелин, был женат, причем на итальянке, и имел троих детей.

Моя мать была убеждена в том, что не будь Эвелин все эти годы прикована к инвалидке-матери, она получила бы образование, позволяющее преподавать и в старших классах, и в конце концов вышла бы замуж за какого-нибудь порядочного человека, раз и навсегда отказавшись от «недостойных» интрижек с женатыми коллегами. Большой нос Эвелин не мешал мужчинам находить ее редкостно привлекательной, и они, полагала моя мать, были правы: стоило крошечной Эвелин войти в дом – а была она яркой брюнеткой с безупречной, пусть и миниатюрной, фигуркой, с огромными – и горящими, как у кошки, – глазами, с кричаще-красной помадой на губах, – и взоры всех присутствующих обращались в ее сторону, причем не только мужчин, но и женщин. Ее волосы были покрыты лаком и отливали металлом, причем она носила их, собрав в узел; брови она выщипывала, превратив их в две выразительные ниточки, и на службу она ходила в цветастой юбке, подпоясанной широким белым ремнем, в полуоткрытой блузке в пастельных тонах и, естественно, в туфлях на высоком каблуке. Мой отец считал подобный наряд, явно не подходящий школьной учительнице, признаком дурного вкуса, да и директор школы на Готорн-авеню думал точно так же, но моя мать, испытывая угрызения совести – оправданные или нет – в связи с «загубленной» на уход за матерью молодостью Эвелин, отказывалась отнестись к ней хоть сколько-нибудь критически – даже когда ее младшая сестра бросила преподавание, вышла из Союза учителей, и, без тени сомнения преодолев прежние политические пристрастия, поступила на службу к рабби Бенгельсдорфу в учрежденный Линдбергом комитет по делам нацменьшинств.

Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем мои родители сообразят, что у Эвелин роман с Бенгельсдорфом, начавшийся буквально с их первой встречи в Союзе учителей, где рабби произнес речь «Развитие американских идеалов в школьном классе», плавно перешедшую в скромный фуршет, – и сообразят они это, лишь когда Бенгельсдорф, получив перевод с повышением из Ньюарка в Вашингтон, на должность главы департамента в ранге замминистра,

объявит ньюаркским газетчикам о своей – в шестьдесят три года – помолвке с собственной тридцатидвухлетней супертемпераментной помощницей.

Решив отправиться на борьбу с Гитлером, Элвин предполагал, что быстрее всего окажется в гуще сражений на борту одного из канадских противолодочных кораблей, сопровождающих караваны торговых судов с поставками в Великобританию. В газетах регулярно писали о том, как немецкие подводные лодки топят канадские суда в Атлантическом океане – порой прямо в береговой зоне возле Ньюфаундленда, – и такое развитие событий не сулило англичанам ничего хорошего, поскольку с тех пор, как администрации Линдберга удалось денонсировать соответствующий договор, заключенный Конгрессом еще при Рузвельте, Канада осталась единственной страной, поставляющей в Англию оружие, провизию, медикаменты и оборудование. В Монреале, однако же, Элвин повстречал еще одного молодого перебежчика из США, который посоветовал ему оставить мысли о военно-морском флоте, потому что на самом деле в гуще схватки, по его словам, оказывается канадский спецназ – совершая ночные рейды на территорию оккупированных нацистами стран, занимаясь диверсиями и саботажем, взрывая склады боеприпасов и – вместе с британскими командос и европейскими подпольщиками – разрушая портовые сооружения и доки по всей береговой линии континентальной Западной Европы. А когда он перечислил Элвину все способы убить человека голыми руками, которым обучают командос, тот отказался от своих первоначальных намерений и пошел записываться в спецназ. В канадские войска специального назначения, как и вообще в канадскую армию, полноправных граждан США брали без затруднений, поэтому, пройдя шестнадцатинедельный курс подготовки, Элвин был включен в боевое подразделение и отправился морем в Англию, на территории которой с военных баз и проводились секретные операции. Как раз в эту пору мы и получили от него последнюю весточку, состоящую всего из пяти слов: «Иду на войну. До скорого».

Всего через несколько дней после того, как Сэнди в полном одиночестве отправился поездом дальнего следования в Кентукки, мои родители получили другое письмо – уже не от Элвина, а из Министерства обороны в Оттаве, – в котором их как ближайших родственников уведомили о том, что их племянник ранен и в настоящее время находится на излечении в госпитале, расположенном в английском городе Дорсете. После ужина мать, справившись с посудой, снова вернулась за кухонный стол с ручкой и пачкой украшенной нашей монограммой бумаги, которая предназначалась для важной корреспонденции. Отец уселся напротив, а я встал за спиной у матери, наблюдая за тем, как она исписывает страницу с профессиональной сноровкой бывшей секретарши. Своим приемам она еще в раннем возрасте научила и нас с Сэнди: средний и безымянный пальцы упираются в стол, поддерживая руку, а указательный расположен ближе к перу, чем большой. Прежде чем записать то или иное предложение, она зачитывала его вслух на тот случай, если моему отцу захочется что-нибудь изменить или добавить.

*Наш дорогой Элвин!*

*Сегодня утром мы получили письмо от канадского правительства, в котором нас известили, что ты ранен в бою и теперь лежишь в английском госпитале. Никаких подробностей в письме не приводится: только это и адрес, по которому тебе нужно писать.*

*Прямо сейчас мы сидим за кухонным столом – дядя Герман, Филип и тетя Бесс. Нам всем хочется узнать, как ты себя чувствуешь. Сэнди на все лето уехал, но мы немедленно напишем ему о тебе.*

*Есть ли шанс, что тебя теперь отправят обратно в Канаду? Если так, то мы непременно приедем с тобой повидаться. А пока этого не произошло, мы выражаем тебе свою любовь и надеемся, что ты сам напишешь нам из*

*Англии. Пожалуйста, напиши или попроси кого-нибудь написать. Если тебе что-нибудь нужно от нас, только дай нам знать.*

*Мы любим тебя. Мы по тебе скучаем.*

Под этим письмом мы все трое поставили свои подписи. Примерно через месяц пришел ответ.

*Дорогие мистер и миссис Рот!*

*Капрал Элвин Рот получил Ваше письмо 5 июля. Будучи старшей сестрой в его отделении, я несколько раз прочитала его ему, чтобы удостовериться в том, что он понял, от кого оно и о чем в нем идет речь.*

*В настоящее время капрал Рот написать Вам не в состоянии. Он потерял левую ногу чуть ниже колена и серьезно ранен в правую стопу. Правая стопа заживает, и этой ноге ампутация не грозит. Когда заживет левая нога, ему выпишут протез и обучат им пользоваться.*

*Сейчас капралу Роту приходится нелегко, но я уверяю Вас, что через какое-то время он сможет вести полноценную жизнь, не испытывая серьезных физических проблем. Наш госпиталь специализируется на ампутациях и обработке тяжелых ожогов. Я повидала немало людей с теми же психологическими трудностями, которые испытывает сейчас капрал Рот, но большинство с этим в конце концов справлялись, и я искренне верю, что капрал Рот тоже справится.*

*С уважением,*

*лейтенант Э. Ф. Купер*

Раз в неделю Сэнди писал, сообщая, что у него все хорошо, рассказывая, какая жара стоит в Кентукки, и заканчивая каждое письмо какой-нибудь сентенцией о прелестях деревенской жизни – что-нибудь вроде: «Здесь полно черники», или «Крупный рогатый скот дуреет от оводов», или «Сегодня убирают люцерну», или «Идет прополка», что бы это на самом деле ни значило. Затем, уже под подписью – и, возможно, затем, чтобы доказать отцу, что у него хватает сил заниматься рисованием и после работы в поле, – он рисовал свинью (с припиской: «Эта свинья весит больше трехсот фунтов!»), или собаку («Это Сьюзи, собака Орина, умеющая отпугивать змей!»), или овечку («Мистер Маухинни вчера отвез на скотопригонный двор тридцать овец!»), или коровник («Его только что продезинфицировали креозотом!»). Как правило, рисунок занимал куда больше места, чем само письмо, и, к огорчению моей матери, задаваемые ею тоже в еженедельных посланиях вопросы о том, не нужно ли Сэнди чего-нибудь – одежды, лекарств или денег, – чаще всего оставались без ответа. Разумеется, я знал, что мать относится к обоим сыновьям одинаково трепетно, но до тех пор, пока Сэнди не уехал в Кентукки, даже не представлял себе, сколько значит для нее именно он – старший из двоих. И хотя она не впала в уныние по поводу восьминедельной разлуки с тринадцатилетним сыном, нечто в этом роде все же чувствовалось, проскальзывая в жестах и набегая тенью на лицо, – особенно по вечерам, за ужином, когда четвертый стул, приставленный к столу, из раза в раз оказывался пустым.

В конце августа, в субботу, когда мы отправились на вокзал встречать Сэнди, с нами поехала тетя Эвелин. Конечно, она была последним человеком, которого хотелось бы видеть в такой ситуации моему отцу, но раз уж он нехотя дал согласие на участие Сэнди в программе «С простым народом» и таким образом благословил его на сельхозработы в Кентукки, то ему пришлось смириться и с влиянием свояченицы на старшего сына – хотя бы затем, чтобы заранее разгадать и предотвратить большую опасность, суть которой оставалась пока не ясна и ему самому.

На вокзале тетя Эвелин первой из нас узнала едва сошедшего на перрон Сэнди – он поправился фунтов на десять, и его каштановые волосы выгорели настолько, что он вполне мог сойти за блондина. Он и подрос на пару дюймов, так что брюки стали ему коротковаты, – и вообще, по-моему, он выглядел совершенно неузнаваемым.

– Эй, фермер! – окликнула его тетя Эвелин. – Иди сюда!

И Сэнди отправился к нам – вразвалочку, новой походкой под стать новой внешности, раскачивая на ходу висящие на плечах дорожные сумки.

– Добро пожаловать домой, чужестранец! – сказала моя мать и, как юная девушка, обвила Сэнди руками за шею и принялась нашептывать ему на ухо что-то вроде: «Где еще найдешь такого красавчика?», так что он даже шикнул на нее: «Мама, кончай!», что, разумеется, заставило нас с отцом и тетю Эвелин расхохотаться. Мы все бросились обнимать и тискать его, а он, стоя возле поезда, на котором только что проехал семьсот пятьдесят миль, тут же продемонстрировал и дал мне пощупать свои мускулы. В машине, когда он наконец начал отвечать на наши вопросы, мы заметили, что и голос у него огрубел, а говорить он стал медленно и с гнусавинкой.

Тетя Эвелин ликовала. Сэнди рассказал о последнем из своих занятий на ферме: они с Орином, одним из сыновей Маухинни, подбирали табачный лист, упавший наземь во время сбора урожая. Эти листья, рассказал Сэнди, растут, как правило, в самом низу, они называются «летунами», но как раз они представляют собой самый высококачественный табак и стоят дороже всего на рынке. Разумеется, рассказал он далее, обычным поденщикам, срезающим табачный лист на площади в двадцать пять акров, не до «летунов» – им надо выдавать на-гора по три тысячи табачных брикетов в день, чтобы через две недели получить при расчете мало-мальски приличные деньги. «Ну и ну! А что такое “брикет”? – поинтересовалась тетя Эвелин, и Сэнди с удовольствием объяснил это пространно и красочно. – А что такое “расчет”, – полюбопытствовала она далее, – что такое “окучивание”, что такое “околачивание”, что такое “перелопачивание”», – и чем больше вопросов она задавала, тем назидательней, по-лекторски отвечал Сэнди, – так что даже когда мы уже проехали Саммит-авеню и отец свернул в боковую аллею, мой старший брат все еще разглагольствовал о выращивании табака, как будто мы, едва прибыв домой, должны были броситься на задний двор и, вспахав булыжную грядку возле мусорных баков, засеять ее первым во всем Ньюарке белым барли. «В “Лаки страйк” барли подслащен, – сообщил он нам, – это и придает им особый вкус»; а мне хотелось вновь и вновь ощупывать его мускулы, оказавшиеся ничуть не меньшей диковиной, чем его кентуккский выговор: Сэнди произносил теперь не «что», а «чаво», не «класть», а «ложить», не «повторил», а «повтóрил», – короче, изъяснялся на языке, на котором не говорят в Нью-Джерси.

Тетя Эвелин ликовала, однако мой отец был сдержан, практически ничего не говорил и за вечерним праздничным столом особенно помрачнел, когда Сэнди завел речь о том, что за образец совершенства представляет собой мистер Маухинни. Во-первых, он закончил сельскохозяйственный факультет университета Кентукки, тогда как мой отец, подобно большинству детей еврейской бедноты перед первой мировой, даже не дошел до девятого класса средней школы. Мистеру Маухинни, как регулярно именовал его Сэнди, принадлежала не одна ферма, а целых три, – на тех двух, что поменьше, работали арендаторы, – а земля принадлежала его семье чуть ли не со времен Дэниела Буна, тогда как мой отец не владел ничем более впечатляющим, чем шестилетний автомобиль. Мистер Маухинни умел ездить на лошади, водить трактор, работать на молотилке, развозить по полям удобрения, пахать как на мулах, так и на волах, убирать урожай и управляться с батраками и поденщиками, как белыми, так и черными; он сам чинил инструмент, точил плуги и косы, ставил заборы, обносил их колючей проволокой, разводил кур, стриг овец, кастрировал быков, забивал свиней, коптил окорока, которые просто тают во рту, – и выращивал самые сладкие и сочные арбузы из всех, какие Сэнди довелось попробовать. Культивируя табак, пшеницу и картофель, мистер Маухинни был в состоянии

полностью обеспечить себя всем необходимым, и за воскресным столом ел пищу только собственного приготовления, а съедал этот фермер в шесть футов три дюйма ростом и двухсот тридцати фунтов весом больше жареных цыплят с кетчупом, чем все остальные члены семьи вместе взятые, тогда как мой отец умел только продавать страховые полисы. Само собой подразумевалось, что мистер Маухинни христианин – представитель того великого и всепобеждающего большинства, которое завоевало независимость, создало нацию, покорило целину, сломало сопротивление индейцев, освободило негров от рабства, дало неграм почти равные права с белыми и наконец включило негров в единую многомиллионную семью добронравных, порядочных, работающих христиан, которые, в свою очередь, освоили фронтир, завели фермы, возвели города, начали управлять штатами, попали в Конгресс, оккупировали Белый дом, приумножили богатство, получили во владение землю, завели сталелитейные заводы, танцполы, железные дороги и банки, наконец, сохранили и распространили на другие народы свой язык, – одним словом, Маухинни был из тех недостижимых, как идеал, белых англо-саксонских протестантов нордического типа, которые правят Америкой – и будут править ею всегда, – генералы, крупные чиновники, промышленные и финансовые магнаты, – из тех людей, что чтят закон, пока он им не разонравится, а в последнем случае берутся за оружие и поднимают восстание, – тогда как мой отец был, разумеется, всего лишь евреем.

Новости об Элвине Сэнди узнал, когда тетя Эвелин уже ушла восвояси. Отец сидел за кухонным столом, разбираясь со своими чековыми книжками, – он планировал еще этим же вечером отправиться за покупками, мать и Сэнди разбирали в подвале одежду, привезенную им обратно из Кентукки, прикидывая, что починить, а что выкинуть перед тем, как отправить в стирку все остальное. Мать никогда не откладывала дел на завтра, вот и сейчас она решила определиться с грязной одеждой, прежде чем пойти спать. Я сидел с ними в подвале, по-прежнему буквально пожирая глазами старшего брата. Он и так-то всегда знал кучу всего, что еще не было известно мне, а вернувшись из Кентукки, знал, конечно же, еще больше.

– Мне надо сообщить тебе об Элвине, – сказала ему мать. – Писать мне не хотелось, потому что... одним словом, я не хотела тебя расстраивать. – И тут, собравшись с силами, чтобы не расплакаться, она еле слышно произнесла. – Элвин ранен. Он в английском госпитале. Он восстанавливается после ранений.

– А кто ж его ранил? – с изумлением спросил Сэнди, как будто мать поведала ему о несчастном случае, происшедшем на нашей улице с кем-нибудь из соседей, а вовсе не об оккупированной нацистами Европе, где людей калечили, ранили и убивали круглыми сутками.

– Подробности нам неизвестны, – ответила мать. – Но это ранение нельзя назвать легким. Мне надо сообщить тебе, Сэнфорд, крайне неприятную и грустную вещь. – И хотя она старалась держаться сама и подбадривать нас, ее голос предательски дрогнул. – Элвин лишился ноги.

– Ноги? – Немного есть слов, столь же недвусмысленных, как «нога», но Сэнди понадобилось какое-то время, чтобы просто понять услышанное.

– Именно. Согласно полученному нами от больничной медсестры письму, он лишился левой ноги чуть ниже колена. – И, словно это могло в какой-то мере утешить, она добавила. – Если хочешь прочесть, письмо мы сохранили.

– Но... как же он будет ходить?

– Ему собираются приделать протез.

– Но я не понимаю, кто его ранил. При каких обстоятельствах это произошло?

– Ну, он ведь отправился на войну с немцами. Так что это, наверное, сделали немцы.

Сэнди, наполовину переварив услышанное, наполовину нет, спросил:

– А какая нога?

Мать не сочла для себя за труд повторить уже сказанное:

– Левая.

– Он что, потерял всю ногу? Всю целиком?

– Нет-нет, – она явно старалась его приободрить. – Я тебе уже говорила, сынок, – чуть ниже колена.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.